

К. Б. ЛЕРНЕР

**СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА  
И ПРОЦЕСС ЯЗЫКОВОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

## СОДЕРЖАНИЕ

Часть I Первый этап становления социально ориентированной лингвистики . . . . .	3
Глава I К истории интерпретации взаимоотношения социологических концепций языка А. Мейе и Ф. де Соссюра . . . . .	3
Глава II Социальная природа языка как условие его всеобщности и монолитности . . . . .	11
Глава III «Социальные условия» языкового изменения ? . . . . .	48
Часть II Социологические условия заражения и развития инновации.	67
Часть II Социологические условия зарождения и развития инновации . . . . .	67
Глава I Социальная стратификация языка и процесс языкового взаимодействия . . . . .	67
Глава II Формирование трехступенчатой системы степени сравнения в грузинском литературном языке . . . . .	75
Глава III Попытка введения категории «рода» (пола) в грузинский литературный язык . . . . .	96
Заключение . . . . .	105
Литература . . . . .	106

АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИНСКОЙ ССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ИМ. А. С. ЧИКОБАВА

К. Б. ЛЕРНЕР

# СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА И ПРОЦЕСС ЯЗЫКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«МЕЦНИЕБეზა»

В книге проанализированы известные в лингвистике интерпретации языка как социального феномена и показана зависимость постановки и решения ряда социолингвистических задач от того или иного понимания социальной сущности языка.

Основываясь на разработанных советской лингвистической мыслью представлениях о диалектически опосредованной связи социальных процессов с языковыми, автор впервые привлекает понятие социальной стратификации языка к описанию внутривидовых процессов, протекающих в условиях взаимодействия языков.

Установлены и охарактеризованы основные параметры процесса реинтерпретации средств языкового выражения, обуславливаемого формированием новых коммуникативно-языковых потребностей в рамках отдельных социальных групп, в наибольшей степени вовлекаемых в процесс интенсивного культурно-ареального языкового контакта.

Для специалистов, занимающихся проблемами теоретического языкознания, и в частности социолингвистики, а также читателей, интересующихся вопросами взаимодействия языков.

Редактор М. В. Мачавариани:

Рецензенты доктора филол. наук: И. Д. Кобалава,  
М. А. Гвенцадзе

## ЧАСТЬ I

### ПЕРВЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

#### ГЛАВА I

##### К ИСТОРИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ЯЗЫКА А. МЕЙЕ И Ф. де СОССЮРА

У истоков современной социально ориентированной лингвистики стоят фигуры двух выдающихся языковедов конца XIX—начала XX вв. — Ф. де Соссюра и А. Мейе. Общелингвистические концепции двух названных языковедов, в первую очередь, сближает признание социальной природы языка как важнейшего, имманентного признака исследуемого объекта. Но вместе с тем, как показывает анализ фундаментальных для каждой из рассматриваемых концепций положений, мы, по сути дела, сталкиваемся с разной трактовкой социальной сущности языка. Более того, А. Мейе и Ф. Соссюр не только не одинаково понимают социальную сущность языка, но, что более важно, делают отсюда разные выводы, формулируют отличающиеся друг от друга задачи лингвистического исследования.

Вопрос взаимоотношения между лингвистическими учениями А. Мейе и Ф. Соссюра, во всяком случае, в плане понимания социальной природы языка и в советской, и в зарубежной лингвистике получал различную, порой, противоположную оценку. Специальный анализ «социологических компонентов» общелингвистических концепций Соссюра и Мейе представляется актуальным не только, и не столько с точки зрения истории лингвистики, сколько в плане понимания дальнейшего развития представлений о социальной природе языка, характере ее конкретных проявлений и о принципах и задачах социолингвистического исследования.

Необходимость осмысления статуса социолингвистической проблематики в рамках и/или во взаимоотношении с наукой о языке в целом, а главное — назревшее требование объективации исторической преемственности по сути дела непреходящих для лингвистики представлений об общей социальной

природе и социальной обусловленности фактов языка в настоящее время признается ведущими представителями различных направлений и национальных школ социалингвистики. В советской социалингвистике справедливо подчеркивается актуальность изучения самой истории проблемы социальной обусловленности языка, поскольку «...не все аспекты ее научной разработки получали должное освещение, особенно тот аспект, который связан с объективным подходом к истории лингвистической постановки указанной проблемы» [Дешериев, 1981, 5].

В этом плане особенно интересны теоретические положения Ф. де Соссюра и Антуана Мейе, трактующие социальную природу языка.

Проблема взаимоотношения между Соссюром и Мейе в интересующей нас сфере теоретической лингвистики в значительной мере есть проблема их отношения к современной им социальной теории, взаимодействие с которой, собственно, и послужило методологической базой формирования особого направления лингвистической мысли, известного как французская социологическая школа.

Связь французского социологизма с соответствующими социологическими учениями отмечалась в советской лингвистике уже на первых этапах ознакомления с трудом Ф. де Соссюра. Так, еще в 1923 г. М. Н. Петерсон излагает общие, принципиальные положения концепции Соссюра (и при этом отмечает сходство соссюровского понимания формы с воззрениями Ф. Ф. Фортунатова, которые в Западной Европе были не известны) [Петерсон, 1923, 29]. В 1927 г. тот же автор посвящает социальной природе языка специальную работу и признает А. Мейе основоположником лингвистического социологизма, поскольку именно «Мейе первым с полной определенностью поставил проблему социологии языка», основываясь на социологической теории Дюркгейма [Петерсон, 1927, 8—9]. Таким образом, подчеркивается связь А. Мейе с теорией Э. Дюркгейма, а отношение концепции Соссюра к социологической теории не рассматривается.

Р. О. Шор в то же время рассматривает социологические положения Соссюра и Мейе в рамках единого направления, при этом прямо причисляет Соссюра к французской лингвистической школе, отмечает связь с социологическими дефинициями Уитни и признает Соссюра «автором социальной теории языка» [Шор 1927, 50].

Популярно излагая проблему социальной природы языка и социальную теорию языка, Р. О. Шор параллельно исходит из элементов концепции Соссюра (в том, что касается трактовки общей социальности языкового знака) и положений А. Мейе о зависимости явлений языка//речи от социальных процессов, «...всякая социальная дифференциация, — подчеркивает Р. О.

Шор вслед за А. Мейе, — должна находить себе отражение в дифференциации языковой» [Шор, 1926, 100] и далее воспроизводит суждения А. Мейе о «постоянных и переменных условиях языкового изменения» [Шор, 1926, 140].

Итак, и М. Н. Петерсон, и Р. О. Шор преимущественно отмечают связь теоретических установок А. Мейе с учением Э. Дюркгейма, параллелизма между концепциями Соссюра и Дюркгейма не касаются и включают А. Мейе и Ф. Соссюра в одно направление.

Эксплицитно ставит проблему соотношения Соссюр—Мейе—Дюркгейм В. Н. Волошинов. Подчеркивая, что корни учения Ф. де Соссюра о «языке» «уходят в картезианскую почву», автор отмечает особую популярность и влияние теории Соссюра в России [Волошинов, 1929, 70—71]. Волошинов, сближая концепции Соссюра и Дюркгейма, все-таки подчеркивает автономность Соссюра в рамках философско-лингвистического течения «абстрактного объективизма» [Волошинов, 1929, 75].

Иначе трактует связь социологических по характеру положений Соссюра с концепцией Э. Дюркгейма, Д. Н. Введенский. В обширной вводной статье к первому русскому переводу «Курса» он говорит о **прямой зависимости Соссюра и его дихотомии от социологического учения Э. Дюркгейма** [Введенский, 1933].

Возможно, это положение в определенной мере послужило источником довольно распространенного в советской лингвистике мнения, согласно которому А. Мейе признавался учеником Соссюра. И действительно, этот вывод по существу и преимущественно опирался на сам факт признания социальной природы языка, тогда как другие, основные дихотомии своего «учителя», например, дихотомию «язык—речь», Антуан Мейе, как известно, не принял [ср. Т. С. Шарадзенидзе, 1971].

С другой стороны, Н. А. Слюсарева, посвятившая проблемам французского социологизма ряд специальных работ, отмечает, что «истинное распространение социологизма (в лингвистике. — К. Л.) началось с трудов Ф. де Соссюра» [Слюсарева, 1981, 72], но вместе с тем признает, что «многие его идеи... отнесение языка к социальным явлениям — начали укрепляться во французском языкознании задолго до выхода в свет «Курса» [Слюсарева, 1974, 74], и справедливо именно А. Мейе называет «бесспорным основателем» социологического направления во французской лингвистике [Слюсарева, 1974<sup>1</sup>, 88].

Различная трактовка взаимоотношения Соссюр—Мейе в плане понимания социальной природы языка, принципов и задач ее исследования, становления лингвистического социологиз-

диахронической социолингвистики) в значительной мере объясняется как отсутствием прямых указаний, так и недостаточной содержательной изученностью с этой точки зрения самого текста работ Соссюра, Мейе, а также Дюркгейма и Тарда. Первое обстоятельство особенно наглядно изложено в пространной научной биографии Ф. де Соссюра, принадлежащей перу А. А. Холодовича.

«Учениками Соссюра, — отмечает А. А. Холодович, — были известный впоследствии Морис Граммон, который слушал курс Соссюра в 1890—1892 гг., Поль Пасси, который слушал курс, читаемый Соссюром в 1885—1887 гг., и, наконец, Антуан Мейе, посещавший лекции Соссюра с 1887 г.» [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 665].

Перекликаясь с наблюдениями советских лингвистов 20-х годов и признавая связь А. Мейе с концепцией Дюркгейма, А. А. Холодович отмечает: «Поскольку непосредственное влияние на Соссюра работ Дюркгейма не было достаточно очевидным, то в качестве посредника привлекли А. Мейе, явно воспринявшего дюркгеймовское понимание языка как общественного установления...» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 669].

Позже неоднозначно интерпретируемая проблема взаимоотношения социологических компонентов концепций Соссюра и Мейе привлекает внимание советских исследователей в условиях возродившегося после дискуссии интереса к истории языкознания, «когда еще не все проблемы решались на должном теоретическом и фактологическом уровне» [Шарадзенидзе, 1980<sup>2</sup>, 5—6].

Так, в ряде случаев основоположником лингвистического социологизма признавался Ф. де Соссюр, а А. Мейе рассматривался как его последователь, «воспринявший социологические элементы учения Ф. де Соссюра» [Хрестоматия, 1956, 326]. Однако в разделе, посвященном непосредственно французской социологической школе, составитель подчеркивает независимость (от Соссюра) формирования социологических установок Мейе: «... как и Ф. де Соссюр.... А. Мейе в своих социологических теориях исходит из построений Дюркгейма» [Хрестоматия, 1956, 365]. Учеником Соссюра признавал А. Мейе и В. М. Жирмунский, хотя одновременно отмечал и самостоятельность А. Мейе в восприятии социологических идей. В. М. Жирмунский подчеркивает широко рассматривавшуюся еще в 20-е годы непосредственную связь социологических воззрений А. Мейе с концепцией Э. Дюркгейма и при этом справедливо отмечает неспособность позитивистской социологии адекватно объяснить движущие силы общественного, а отсюда — языкового развития: «Будучи представителем так называемой «социологической школы»... он (А. Мейе. — К. Л.) является

учеником известного французского социолога Э. Дюркгейма...» [Жирмунский, 1952, 3].

Анализируя характер и самое представительство дихотомий Соссюра в до- и послессоссюровском языкознании, Т. С. Шарадзенидзе также признает А. Мейе и М. Граммона непосредственными учениками Соссюра, хотя и отмечает, что Мейе не признал основную дихотомию Соссюра [Шарадзенидзе, 1971, 32]. Эта точка зрения вообще получила довольно широкое распространение, и не только в советской историко-лингвистической мысли. Так, воспитанный на традициях французского языкознания, А. Sommerfelt прямо называет А. Мейе учеником Соссюра [Sommerfelt, 1965, 357].

Что же касается непосредственно взаимоотношения двух лингвистов, то А. А. Холодович считает, что взгляды Соссюра на общую природу языка вплоть до выхода в свет «Курса» «не нашли выражения ни в одной из его публикаций и не были известны даже в самых общих чертах ближайшим его ученикам как в парижский, так и в женеvский период его научной деятельности (например, Антуану Мейе даже в 1913 году)» [Холодович, 1977<sup>2</sup>, 10]. Такой вывод объективно вытекает из того очевидного факта, что в настоящее время не известны ни одна работа или публичное выступление, где бы излагалась, хотя бы в общих чертах, оригинальная позиция Соссюра в понимании социальности языка. Правда, факты его научной биографии, особенно в парижский период, дают некоторое основание предполагать, что взгляды Соссюра могли быть известны его парижскому лингвистическому окружению (активная лингвистическая деятельность Соссюра в Париже будет рассмотрена ниже). Более убедительное свидетельство можно усмотреть в известном письме Соссюра, из которого вытекает, что А. Мейе знал о неудовлетворенности Соссюра всей теоретической лингвистикой. В письме, датированном 1894 г., Соссюр говорит об «абсолютной неясности принятой терминологии», необходимости ее пересмотра, а также необходимости показать для этого, **какого рода объектом является язык вообще...**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [см. Холодович, 1977<sup>1</sup>, 667]. Косвенное указание на скрытую полемику или, в крайнем случае, взаимное знакомство со взглядами на сущность, а главное — характер проявления социальной природы языка прослеживается и в тексте одной из работ А. Мейе, где применительно к языку излагается чисто дюркгеймовское понимание социального факта.

Здесь же А. Мейе называет М. Бреалья основоположником социального подхода в лингвистике и подчеркивает, что М. Бреаль «не вынуждал никого думать так, как он» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 1].

С другой стороны, если знакомство французских лингвистов, включая А. Мейе, с теоретическими взглядами Соссюра

диахронической социолингвистики) в значительной мере объясняется как отсутствием прямых указаний, так и недостаточной содержательной изученностью с этой точки зрения самого текста работ Соссюра, Мейе, а также Дюркгейма и Тарда. Первое обстоятельство особенно наглядно изложено в пространной научной биографии Ф. де Соссюра, принадлежащей перу А. А. Холодовича.

«Учениками Соссюра, — отмечает А. А. Холодович, — были известный впоследствии Морис Граммон, который слушал курс Соссюра в 1890—1892 гг., Поль Пасси, который слушал курс, читаемый Соссюром в 1885—1887 гг., и, наконец, Антуан Мейе, посещавший лекции Соссюра с 1887 г.» [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 665].

Переключаясь с наблюдениями советских лингвистов 20-х годов и признавая связь А. Мейе с концепцией Дюркгейма, А. А. Холодович отмечает: «Поскольку непосредственное влияние на Соссюра работ Дюркгейма не было достаточно очевидным, то в качестве посредника привлекли А. Мейе, явно воспринявшего дюркгеймовское понимание языка как общественного установления...» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 669].

Позже неоднозначно интерпретируемая проблема взаимоотношения социологических компонентов концепций Соссюра и Мейе привлекает внимание советских исследователей в условиях возродившегося после дискуссии интереса к истории языкознания, «когда еще не все проблемы решались на должном теоретическом и фактологическом уровне» [Шарадзенидзе, 1980<sup>2</sup>, 5—6].

Так, в ряде случаев основоположником лингвистического социологизма признавался Ф. де Соссюр, а А. Мейе рассматривался как его последователь, «воспринявший социологические элементы учения Ф. де Соссюра» [Хрестоматия, 1956, 326]. Однако в разделе, посвященном непосредственно французской социологической школе, составитель подчеркивает независимость (от Соссюра) формирования социологических установок Мейе: «... как и Ф. де Соссюр... А. Мейе в своих социологических теориях исходит из построений Дюркгейма» [Хрестоматия, 1956, 365]. Учеником Соссюра признавал А. Мейе и В. М. Жирмунский, хотя одновременно отмечал и самостоятельность А. Мейе в восприятии социологических идей. В. М. Жирмунский подчеркивает широко рассматривавшуюся еще в 20-е годы непосредственную связь социологических воззрений А. Мейе с концепцией Э. Дюркгейма и при этом справедливо отмечает неспособность позитивистской социологии адекватно объяснить движущие силы общественного, а отсюда — языкового развития: «Будучи представителем так называемой «социологической школы»... он (А. Мейе. — К. Л.) является

учеником известного французского социолога Э. Дюркгейма...» [Жирмунский, 1952, 3].

Анализируя характер и самое представительство дихотомий Соссюра в до- и послессоссюровском языкознании, Т. С. Шарадзенидзе также признает А. Мейе и М. Граммона непосредственными учениками Соссюра, хотя и отмечает, что Мейе не признал основную дихотомию Соссюра [Шарадзенидзе, 1971, 32]. Эта точка зрения вообще получила довольно широкое распространение, и не только в советской историко-лингвистической мысли. Так, воспитанный на традициях французского языкознания, А. Соммерфельт прямо называет А. Мейе учеником Соссюра [Соммерфельт, 1965, 357].

Что же касается непосредственно взаимоотношения двух лингвистов, то А. А. Холодович считает, что взгляды Соссюра на общую природу языка вплоть до выхода в свет «Курса» «не нашли выражения ни в одной из его публикаций и не были известны даже в самых общих чертах ближайшим его ученикам как в парижский, так и в женевский период его научной деятельности (например, Антуану Мейе даже в 1913 году)» [Холодович, 1977<sup>2</sup>, 10]. Такой вывод объективно вытекает из того очевидного факта, что в настоящее время не известны ни одна работа или публичное выступление, где бы излагалась, хотя бы в общих чертах, оригинальная позиция Соссюра в понимании социальности языка. Правда, факты его научной биографии, особенно в парижский период, дают некоторое основание предполагать, что взгляды Соссюра могли быть известны его парижскому лингвистическому окружению (активная лингвистическая деятельность Соссюра в Париже будет рассмотрена ниже). Более убедительное свидетельство можно усмотреть в известном письме Соссюра, из которого вытекает, что А. Мейе знал о неудовлетворенности Соссюра всей теоретической лингвистикой. В письме, датированном 1894 г., Соссюр говорит об «абсолютной неясности принятой терминологии», необходимости ее пересмотра, а также необходимости показать для этого, **какого рода объектом является язык вообще...**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [см. Холодович, 1977<sup>1</sup>, 667]. Косвенное указание на скрытую полемику или, в крайнем случае, взаимное знакомство со взглядами на сущность, а главное — характер проявления социальной природы языка прослеживается и в тексте одной из работ А. Мейе, где применительно к языку излагается чисто дюркгеймовское понимание социального факта.

Здесь же А. Мейе называет М. Бреалья основоположником социального подхода в лингвистике и подчеркивает, что М. Бреаль «не вынуждал никого думать так, как он» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 1].

С другой стороны, если знакомство французских лингвистов, включая А. Мейе, с теоретическими взглядами Соссюра

все-таки остается гипотетичным, то осведомленность Соссюра как во французской лингвистической традиции, так и в социологических учениях своего времени сомнений не вызывает. Об этом свидетельствуют как факты его биографии, так и выдержки из самого «Курса».

Действительно, уже с 1876 г. Соссюр вступает в Парижское лингвистическое общество, с 1881 г. слушает лекции М. Бреалья в Школе высшего образования, а с 1882 г. становится заместителем секретаря этого общества; тогда же М. Бреаль передает ему свой курс сравнительной грамматики в Школе высшего образования (который Соссюр в 1889 г. поручает А. Мейе, но в 1891 г. рекомендует в качестве своего преемника Л. Дюво) [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 663—664].

В этих условиях трудно предположить, что Соссюру оставался не известен М. Бреаль как носитель столь присущих французской лингвистике социально-исторических тенденций, преемник традиций французского просветительства и, наконец, «основоположник социального подхода в лингвистике» (А. Мейе). Можно предположить, что Соссюру были прекрасно известны социологические устремления французской лингвистики, противопоставлявшиеся, в частности, немецкому младограмматизму (общетеоретические прсылки которого, как известно, также не удовлетворяли Соссюра). И тем не менее даже в вводных главах «Курса», характеризуя всю предшествующую историю лингвистики, Соссюр называет целый ряд представителей до- и послебопповского языкознания, но ни разу не упоминает М. Бреалья. Критикуя чисто сравнительную лингвистику Боппа и возникшую на ее основе сравнительно-историческую лингвистику младограмматизма, Соссюр далее предполагает изложить социальную теорию языка. Школе Боппа, пишет Соссюр, «все же не удалось создать подлинно научную лингвистику. Она так и не попыталась выявить природу изучаемого объекта. А между тем без такого предварительного анализа никакая наука не в состоянии выработать свой метод» [Соссюр, 1977, 41]. Но и младограмматизм, рассматривавший язык «не как саморазвивающийся организм, а как продукт коллективного духа языковых групп», также не постигает истинной природы языка: «...не следует думать, будто она (школа младограмматиков, — К. Л.) пролила полный свет на всю проблему в целом: основные вопросы общей лингвистики и ныне все еще ждут своего решения» [Соссюр, 1977, 43]. И это говорится тогда, когда А. Мейе уже изложил свое понимание социальной природы языка и задач лингвистики. Побуждаемый столь очевидной интенцией, Соссюр тем не менее не берет ничего из социологических положений Бреалья, а на его лекциях, как предполагается, знакомится лишь с идеями философской грамматики, в частности «с тео-

рией произвольности знака, развиваемой Кондильяком...» [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 663].

Соссюр, как известно, вообще не указывает возможные социологические и лингвистические источники своих идей, «у него не найти ссылок ни на Дюркгейма, ни на Тарда, ни на Бодуэна де Куртенэ, ни на Габеленца...» [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 670]. Однако в самом тексте «Курса» содержатся, на наш взгляд, отклики как на основные положения французского лингвистического социологизма (в частности А. Мейе), так и на протекавшую в социологии его времени дискуссию.

Так, А. Мейе, воспринимая учение Э. Дюркгейма об императивности социального феномена с позиций французской лингвистической традиции (и, постольку, делая не заложенные в этом учении выводы), важнейшей задачей общей лингвистики признает установление и изучение «социальных условий существования и развития языка» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16]. Соссюр же, характеризуя достижения лингвистической мысли XIX в., в том числе работу У. Уитни, отмечает, что «только в 70-х годах XIX в. стали задаваться вопросом, каковы же условия жизни языков» [Соссюр, 1977, 42]. Однако в конечном счете в полном соответствии со своей концепцией «языка» приходит к заключению, согласно которому «нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык» [Соссюр, 1977, 61].

В русле общей проблемы места лингвистики среди наук, когда «наступило время... определить место языковедческой проблематики с социальной точки зрения» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 18], А. Мейе признает «лингвистику... частью социологии» [Meillet, 1911, 256]. Ф. де Соссюр, рассматривая взаимоотношения лингвистики «с рядом других наук», также задается вопросом — «...не следует ли включать ее (лингвистику, — К. Л.) в социологию?» [Соссюр, 1977, 44] — и решает его иначе: «Лингвистика — только часть этой общей науки (семиологии, — К. Л.)» [Соссюр, 1977, 54].

Соссюр превосходно ориентируется в современных ему дефинициях социального феномена, и, как будто, склоняется к дюркгеймовскому толкованию императивности: «... если мы хотим показать, что действующий в коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно принимают, то наиболее блестящим подтверждением этому является язык» [Соссюр, 1977, 104]. С другой стороны, он считает малопригодным для объяснения языкового изменения принцип «подражания», составляющий основной компонент социологического учения Ж. Тарда, противопоставляющегося концепции Э. Дюркгейма. Законы подражания, пишет Ф. де Соссюр, «интересующие многих психологов», не могут считаться объяснением языкового (фонетического) изменения («совсем не заслуживают такого названия»), но в самой мотивации непригодности законов

подражания для объяснения языкового изменения звучит и несогласие с Дюркгеймом. Они непригодны, поскольку «приравнивают фонетические изменения к изменениям моды». В любом случае остается неясным, «где же искать отправную точку для подражания как у изменений моды, так и у фонетических изменений?» [Соссюр, 1977, 184].

Единственный источник, на который ссылается Ф. де Соссюр, это работа У. Уитни, в которой излагались основы подхода к языку как социальному установлению. «Первый импульс, — отмечает Соссюр, — был дан американцем Уильямом Уитни, автором книги «Жизнь и развитие языка» (1875)» [Соссюр, 1977, 43]. Однако Соссюр в интерпретации социальной природы языка не согласен и с У. Уитни, который «...не разглядел, что своим произвольным характером язык резко отличается от всех прочих общественных установлений (подчеркнуто нами, — К. Л.)» [Соссюр, 1977, 108]. Расхождение с Уитни по этому основному пункту, фактически, вскрывает и суть различий во взглядах Соссюра и Дюркгейма на социальность языка.

Таким образом, даже беглый обзор специальной литературы и краткое сопоставление работ Соссюра и Мейе убеждает нас в том, что они по-разному относились к традициям французского социологизма и независимо друг от друга, а главное — опять-таки по-разному воспринимали современные им социальные учения.

## ГЛАВА II

### СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ ЕГО ВСЕОБЩНОСТИ И МОНОЛИТНОСТИ (ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЗМА Ф. де СОССЮРА В СОПОСТАВЛЕНИИ С СОЦИОЛОГИЧЕСКИМИ УЧЕНИЯМИ Э. ДЮРКГЕЙМА И Ж. ТАРДА)

#### § 1. Параллелизм в архитектонике и общих принципах построения гносеологической модели языка

1.1. «Лингвистика языка» Ф. де Соссюра, представляя собой стройную лингвистическую концепцию, основанную на признании социальной природы языка, обнаруживает заметный параллелизм с рядом положений позитивистской социологии, прошедшей путь развития «от чрезвычайно общей «системной социологии»... до весьма детального анализа «малых групп» [Современная соц. теория, 1981, 45—46]. Взгляды Соссюра на природу языка, структуру и задачи лингвистики, естественно, сложились не в каком-либо интеллектуальном вакууме, но отражают общий уровень развития современной ему общественной и научной мысли, пропущенной, применительно к языку, сквозь призму гениальной индивидуальности лингвиста.

С этой точки зрения, учение Соссюра о социальном, системном «языке», противопоставляемом «несоциальной» речи, может быть интерпретировано как своего рода лингвистическое преломление первого этапа становления социологии, рассматривавшей социальную действительность как совершенно автономный феномен, который «лежит в самом себе и развивается по своим собственным законам, сам по себе» [Фотев, 1979, 11]. В плане формирования и углубления социального подхода к языку основная дихотомия Соссюра соответствует наиболее общим представлениям «системной социологии» и характеризуется пониманием (вернее было бы сказать, продиктованным определенными методологическими соображениями **описанием**) языка как монолитной, социальной, императивной по своей сущности системы, коррелирующей со столь же монолитным, «нестратифицированным» социумом. По справедливому замечанию Н. А. Слюсаревой, социологи-

ческую концепцию Соссюра характеризовало «преимущественное заострение внимания на системной природе языка (понимаемой как следствие его социальности, — К. Л.), а не **изучение собственно социальной стороны лингвистических явлений**» (подчеркнуто нами, — К. Л.) [Слюсарева, 1981, 72]. Это положение Н. А. Слюсаревой весьма точно отражает особенности социологизма Соссюра, роль и место его концепции в становлении социально ориентированной лингвистики в целом и современной социолингвистики в частности. Весь путь обогащения и уточнения представлений о социальной природе языка, который может быть охарактеризован как последовательное «восхождение от абстрактного к конкретному» [Маркс, т. 12, 727], в конечном счете сопряжен с преодолением допущения прямой, непосредственной корреляции между структурами языка и общества и понимания языка как обычного социального института. Освобождение от подобного социологизма и приводит к социолингвистике [Журавлев, 1981, 266].

С этой точки зрения позиция Ф. де Соссюра тем более примечательна, что несмотря на определенный диктат социальной теории, он, как будет показано ниже, приходит к пониманию особой социальной природы языка.

1.2. Влияние идей одного из классиков позитивистской социологии Э. Дюркгейма (1858—1917) на формирование взглядов Ф. де Соссюра хронологически вполне вероятно. Основные работы французского социолога вышли в свет в период 1895—1902 годов, в 1912 г. опубликован итоговый труд Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», с 1896 г. Э. Дюркгейм издавал специальный журнал *Apeé sociologique*, «оказавший большое влияние на развитие французского обществоведения» [Осипова, 1979, 205].

Однако воздействие идей Дюркгейма на формирующуюся концепцию Соссюра может объясняться не только фактором хронологической соотнесенности. Активное сближение теоретической лингвистики с **определенными социологическими учениями** не случайно приходится на эпоху Соссюра и реализуется именно во Франции. Это был период, когда не столь давно возникшая социология обнаруживала претензии ведущей общественной науки. Характеризуя проблематику и статус новой науки, Э. Дюркгейм прямо заявлял: «Социология как центральная общественная дисциплина призвана **вооружить все общественные науки методом и теорией** (подчеркнуто нами. — К. Л.) ...социология должна оказать влияние на теорию познания, а также историю, этнографию...» [Durkheim, 1980, 211].

О связи концепции Соссюра с гносеологическими принципами социологизма XIX в. свидетельствует и сама постулируемая структура науки о языке, представленная в «Курсе».

Основоположник социологии как особой дисциплины, выпускник французской Политехнической школы О. Конт еще в 1838—1839 гг. предложил само название новой науки, наметил ее объект, метод и программу [Агюрод, 1969, 6]. Конт поставил перед собой задачу систематизировать научные знания своего времени и попытался создать «энциклопедическую лестницу наук», содержащую, как признают советские исследователи, «определенные элементы диалектического мышления»... О. Конт подчеркивал невозможность познания изолированных фактов, которые должны рассматриваться в более крупных системах ценностей, в которые они входят [Кон, 1979, 24].

Особенно показательна в наших целях предложенная О. Контом структура собственно социологии, т. н. **социальной физики**, которая включает а) социальную статику и б) социальную динамику. Задача социальной статики, согласно Конту, предполагает изучение взаимоотношений компонентов, сосуществующих в узких хронологических рамках. Социальная динамика же анализирует изменение, последовательную смену состояний [см. Философский словарь, 1981]. Требуя в статике описания внешнего облика явлений в их равновесии, а под социальной динамикой понимания «воздействие мира идей на преобразование мира» [Слюсарева, 1974<sup>2</sup>, 76—77], О. Конт тем не менее подчеркивал, что разграничение статики и динамики допустимо лишь в целях анализа.

По крайней мере внешняя, композиционная аналогия очевидна. Соссюр также подразделяет науку о языке на синхроническую и диахроническую лингвистику и аналогично формулирует задачи каждой из частей:

**«Синхроническая лингвистика** должна заниматься логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием» (ср. О. Конт — «...сосуществуют в узких хронологических рамках...»).

**Диахроническая лингвистика**, напротив, должна изучать отношения, связывающие элементы, следующие друг за другом во времени и не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием, то есть элементы, последовательно сменяющие друг друга... [Соссюр, 1977, 132].

Правда, в отношении диахронических явлений Соссюр подчеркивает момент несистемности — «...элементы, последовательно сменяющие друг друга и **не образующие в своей совокупности системы**», что в общем-то не вытекает из контовского понимания «социальной динамики». Однако в полном согласии с методологическим принципом постулируемых Контом социологических исследований, в частности, с принципом социальной статики, а позже и всей социологии в целом ока-

зывается распространяемый, впрочем, только на «язык» синхронно-системный социологизм Соссюра.

Действительно, интерпретация языка как внутренне организованной социально значимой системы увязывается с дюркгеймовским пониманием социума: общество не есть простая агломерация индивидов, представляет собой структурированный организм, иерархию внутренних связей, и «взаимоотношение общества и индивидов интерпретируется как соотношение целого и его части» [Осипова, 1979, 214], хотя само это соотношение понимается скорее механистически.

Научная социология, рассматривающая общество как единую внутренне связанную систему [Кон, 1979, 17—18], основанную на определенном типе производственных отношений, возможна лишь «на базе материалистического понимания истории» [Ленин, т. I, 151]. И тем не менее с точки зрения соотношения нарождавшейся строго системной лингвистической концепции с социологической теорией показательно, что «уже буржуазные социологи XVIII—XIX вв. ...рассматривали общество как единое целое» [Чесноков, 1981, 832]. Характеризуя специфику системно-социологического подхода к общественным явлениям, И. С. Кон подчеркивает: «Социологическое видение мира (социологический стиль мышления) предполагает взгляд на общество как на некое системное целое, функционирующее и развивающееся по своим собственным законам» [Кон, 1979, 8]. Этот признак общества в концепции Соссюра, как известно, прилагается к «языку», служит одним из важнейших критериев его выделения.

1.3. Проявлением «социологического видения мира» следует признать присущее социологической системе Э. Дюркгейма методологическое требование объективного подхода к социальным явлениям, принцип объяснения социального через социальное и, соответственно, «критика биологического и психологического редукционизма» [Осипова, 1979, 212]. Настойчиво опровергавшиеся Э. Дюркгеймом концепции социального редукционизма основывались на попытках объяснить социальные явления и процессы факторами несоциального порядка — географическими, физиологическими, этническими... (исключая роль производственных отношений). Но при этом сам Дюркгейм «редуцировал социальное до социологического, понимая социологическое односторонне» [Фотев, 1979, 17].

Антиредукционистская тенденция, столь четко обнаруживающаяся в трудах Э. Дюркгейма, находит отражение в важнейшем постулате Соссюра, во многом определившем структуру науки о языке. Соссюр признает связь лингвистики «с рядом других наук, которые то заимствуют у нее данные, то предоставляют ей свои. Границы, отделяющие ее от этих наук, не всегда выступают вполне отчетливо» [Соссюр, 1977,

44]. Антиредукционистским социологическим установкам и, соответственно, стремлению освободить лингвистику от чуждых ей, внешних вкраплений и отклонений, а отсюда — очертить имманентный объект исследования в значительной мере созвучен известный тезис Соссюра о необходимости «...с самого начала встать на почву языка и считать его основанием (поэме) для всех прочих проявлений речевой деятельности» [Соссюр, 1977, 47].

Соссюр видит опасность «размывания» объекта лингвистики и связывает ее с многоаспектностью феномена «речевой деятельности»: «... если мы изучаем явления речевой деятельности одновременно с нескольких точек зрения, объект лингвистики выступает перед нами как груда разнородных, ничем между собой не связанных явлений. Поступая так, мы распахиваем дверь перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной грамматикой, филологией и т. п.» [Соссюр, 1977, 47]. Стремление исключить из объекта рассмотрения гетерогенные компоненты, вклинивающиеся в феномен «речевой деятельности», приводит Соссюра к членению объекта языкознания и выделению двух лингвистик:

«...было бы нелепо объединить под одним углом зрения и язык и речь... Надо избрать либо один, либо другой из двух путей и следовать по избранному пути независимо от другого, следовать двумя путями одновременно (подчеркнуто нами. — К. Л.) нельзя» [Соссюр, 1977, 57—58].

Данная дефиниция Соссюра представляется нам отражением его стремления примирить различные положения социологии и одновременно увязать их как с особенностями реального изучаемого объекта, так и с практикой языковедческих исследований. Следуя требованиям антиредукционизма, Соссюр считает «нелепым» одновременно изучать «язык» (как средоточие собственно лингвистического в агломерате «языковой деятельности») и «речь» (как сферу гетерогенных явлений). Но лингвисту в реальном наблюдении дается именно «речь», и Соссюр признает возможность следования «по одной из двух дорог». Однако во второй части дефиниции такая возможность фактически снимается: «Можно в крайнем случае сохранить название лингвистики за обеими этими дисциплинами и говорить о лингвистике речи. Но ее нельзя смешивать с лингвистикой в собственном смысле, с той лингвистикой, единственным объектом которой является язык...» Суждения о двух лингвистиках завершаются фактическим признанием принципиальной возможности «лингвистики речи». Правда, Соссюр не усматривает в современном ему языкознании методологических основ для построения системной «внешней лингвистики», а постольку «разделение обеих точек зрения неизбежно, и чем оно строже соблюдается, тем лучше...» [Соссюр, 1977, 58].

Эта тенденция, приводящая к расщеплению объекта лингвистики и противопоставлению двух ее частей вызвала критические замечания специалистов. При этом исследователи сосредоточивались преимущественно на соссюрской интерпретации разноаспектности речевой деятельности.

«Соссюр был прав, — пишет Т. С. Шарадзенидзе, — указывая на многоаспектность языка... Но представляется неоправданным искать выход... в исключении некоторых его существенных сторон. Языкознание должно учитывать все аспекты, необходимые для функционирования языка.

Трудно согласиться с Соссюром, как будто объект лингвистики... выступает... как... нагромождение... ничем между собой не связанных явлений. Различные стороны языка объединены общими задачами — служить общению и мышлению...

Из-за многоаспектности языка языкознание имеет контакты с целым рядом наук: физикой, физиологией, психологией, логикой, социологией. Но это не означает... их смешения, вторжения этих наук в сферу языкознания» [Шарадзенидзе, 1971, 44].

При всей справедливости такой оценки позиции Соссюра здесь остается не до конца объясненной истинная интенция автора. В частности, недостаточно подчеркивается тот факт, что лингвистика не дала Соссюру надежной методологической основы для изучения «всех аспектов речевой деятельности». Этой цели и служит конструкт — «язык», вносящий «единство в речевую деятельность» и позволяющий таким образом систематизировать хотя бы часть речевой деятельности.

Однако требование объяснять «языковое через языковое» приводит к абсолютизации внутрисистемных «ценностных» отношений и сводит на нет роль человеческого фактора в функционировании языка и в конечном счете ведет к признанию императивности «социального» языка, независимого от воли индивида, стоящего «вне языковой системы».

Вместе с тем приоритет «лингвистики в собственном смысле», «единственным объектом которой является язык», вытекает не только из антиредукционистского требования объяснять «социальное через социальное» и, соответственно, из интенции лингвиста объяснять «языковое через языковое».

Здесь сказывается связанное, конечно, с данным требованием но специфичное для всей концепции Соссюра стремление выделить две стороны — социальную и несоциальную — в едином феномене человеческой речи. И четкую методологическую параллель в данном случае можно усмотреть в одном из компонентов социологического учения Э. Дюркгейма. Эта связь до настоящего времени не привлекала должного внимания лингвистов, хотя она дает весьма наглядное представление о самостоятельности позиций Соссюра и будет рассмотрена ниже.

1.4. В сложившейся в современной лингвистике обширной «соссюриане» с той или иной полнотой и убедительностью показано, где, когда и у кого встречаются те или иные известные положения Соссюра. Как замечает А. А. Холодович, почти все утверждения Соссюра могут быть сведены к идеям, «высказанным его предшественниками или современными ему мыслителями... и, конечно, подобная препарация единой концепции Соссюра не объясняет ее реальной значимости и влияния на развитие современного языкознания» [Холодович, 1977<sup>1</sup>, 669].

Анализируя социологизм Соссюра в сопоставлении с гумбольдтианской интерпретацией языка, Г. В. Рамишвили приходит к заключению, что в понимании социальной природы языка «Соссюр мог и не выходить за пределы лингвистики — мысль о неиндивидуальной сущности языка проходит через весь путь развития языкознания со времен его основоположника В. Гумбольдта» [Рамишвили, 1978, 78]. И все-таки обращение к конкретной социологической теории во многом предопределило специфику концепции Соссюра. Подтверждение тому можно найти в самих дихотомиях Соссюра.

Противопоставление «языка» и «речи», справедливо расцениваемое как важнейший компонент лингвистической концепции Ф. де Соссюра, сводится, как известно, к ряду дихотомий. В лингвистических исследованиях выделяются, в частности, шесть таких противопоставлений.

Анализируя все упомянутые противопоставления с точки зрения их значимости для адекватного понимания сущности языка, Т. С. Шарадзенидзе признает релевантными только «два последних пункта» — Д (разграничение потенциально существующих навыков, правил и их реализаций) и Е (разграничение формы и субстанции). «На наш взгляд, — пишет автор, — оба разграничения ценны. Названные признаки следует различать, однако это не дает основания для того, чтобы в языковой деятельности выделить два самостоятельных объекта...» [Шарадзенидзе, 1971, 9].

Но в концепции Соссюра наиболее существенным, специфичным остается противопоставление «социального» языка — «несоциальной» речи, которое лежит в основе других дихотомий.

Особенность Соссюра, в конечном счете, заключается не в том, что он выделял два объекта — *Lange* и *Parole* — в рамках единого феномена (*Langage*), а в стремлении приписать каждому из них (объектов) свои, особые социальные параметры, естественно, исходя из определенного понимания «социального». При этом, показательно, что Соссюр стремился четко различить и разнести по разным наукам два объекта и признать один из них «ведущим, основным, системным» —

в конечном итоге — «социальным», а другой — «вторичным, случайным, несистемным» — «индивидуальным».

История лингвистики убеждает, что концепция Соссюра не может претендовать на приоритет в различении языка и речи. Более того, исследователи отмечают, что разграничение языка и речи независимо от лингвистической традиции и еще до формирования языкознания в качестве самостоятельной науки проводилось в рамках философии [см., Косериу, 1969, 151].

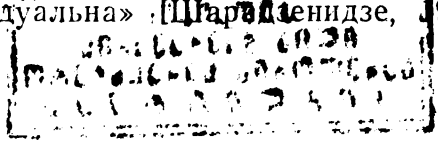
В частности, «разграничение языка и речи, хотя не всегда четкое и последовательное, наблюдается и у некоторых представителей дососсюровского языкознания, например, у В. Гумбольдта, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Г. фон дер Габеленца, Ф. Финка» [Шараденидзе, 1971, 9]. Однако, воззрения всех названных предшественников Соссюра в вопросе разграничения речевой деятельности, речи и языка заметно отличаются и друг от друга и от системы взглядов Соссюра, а главное, «разграничение языка и речи они не увязывают с противопоставлением индивидуального и социального...» [Шараденидзе, 1971, 14].

Понятие «социального» — узуса применительно к человеческому языку одним из первых, видимо, использовал Г. Пауль. Однако он не различал «языка» и «речи». Поэтому остается в силе вывод Т. С. Шараденидзе о том, что «если у предшественников Соссюра наблюдается попытка лишь разграничить язык и речь, то Соссюр противопоставляет эти понятия» [Шараденидзе, 1971, 14].

С точки зрения преемственности в части понимания социальной природы языка и развития всей социолингвистической проблематики в целом показательное отношение к этому противопоставлению в послесоссюровском языкознании и особенно во французской социологической школе. С этой целью обратимся к результатам специального анализа, проведенного Т. С. Шараденидзе.

Противопоставление языка и речи, естественно, принимают лингвистические направления, «которые и в других вопросах основываются на учении Соссюра. Таковы: Женевская школа, Пражская школа, Копенгагенская школа» [Шараденидзе, 1971, 15]. Признают эту дихотомию и другие лингвисты, не считающиеся прямыми соссюрианцами. «Но если у Соссюра в основе дихотомии лежит совокупность нескольких признаков, то у его последователей намечается тенденция свести их к одному или двум. При этом, каждый по-своему выбирает в качестве релевантных те или иные признаки, отбрасывая остальные признаки, выдвинутые Соссюром» [Шараденидзе, 1971, 20].

Более того, «в современном языкознании все меньшее внимание уделяется противопоставлению «язык — социален, речь — индивидуальна» [Шараденидзе, 1971, 21].



Таким образом, характерной чертой современного языкознания, так или иначе принимающего деление единого феномена на две части, исследователь признает элиминацию оппозиции по социальности/несоциальности: «Если для Соссюра одним из различительных признаков языка и речи была оппозиция: социальное — индивидуальное, то большинство современных лингвистов совершенно обоснованно признает социальной и речь» [Шарадзенидзе, 1971, 21].

Естественно, нет этой оппозиции и в концепциях, вовсе не сосредоточивающихся на различении языка и речи. В частности, О. Есперсен признавал индивидуальную речь социальным феноменом, а в «языке» и «речи» усматривал «два вида человеческой активности, различающиеся только в нюансах» [Jespersen, 1927, 585]. Нет полной преемственности и между Соссюром и теми направлениями, которые «в целом близко стоят к концепции Соссюра, но не признают противопоставления языка — речи. Таковы: французская социологическая школа, Лондонская лингвистическая школа и американская дескриптивная лингвистика» [Шарадзенидзе, 1971, 32]. Особенно важно в наших целях наблюдение автора, согласно которому «в трудах старшего поколения этой школы (А. Мейе, Ш. Вандриеса, М. Коэна, Ш. Марузо, А. Соммерфельта) **не выявляется** (подчеркнуто нами, — К. Л.) противопоставление языка и речи [Шарадзенидзе, 1971, 35]. Не «выявляя в своей лингвистической практике (и теории) противопоставления языка и речи», представители французской социологической школы, естественно, не принимали и деления на «социальное/несоциальное». Таким образом, о заимствовании Антуаном Мейе «социологических установок» Ф. де Соссюра говорить не приходится. Действительно, А. Мейе независимо от Соссюра воспринял некоторые дефиниции Дюркгейма, но заимствовал не все его положения и интерпретировал их иначе. С другой стороны, **в утверждении наличия двух объектов — социального и несоциального — в едином феномене человеческой речи Ф. де Соссюр остается независимым от французской лингвистической традиции** и непосредственно сближается с социологическим учением Э. Дюркгейма.

## § 2. «Социальное» и «несоциальное» в едином феномене

Наиболее специфичное для Соссюра противопоставление социального, системного «языка» несоциальной, несистемной «речи», т. е. различение двух компонентов и даже двух различных объектов в рамках феномена речевой деятельности человека находит наглядную аналогию в одном из основных компонентов социологической концепции Дюркгейма — т. н. **«социальной теории познания»**.

2.1. Сама сущность дюркгеймовской теории познания, естественно, вытекает из глубоко проанализированной в советской

специальной литературе позитивистской интерпретации взаимоотношения социума и индивида.

«Социологизм» Дюркгейма, приводящий, в частности, к рассмотренному выше антиредукционизму, заключается в допущении «социальной реальности» как совершенно особого явления, не сводимого к другим видам реальности. Социальная реальность автономна по отношению к индивидуальной реальности, которую Дюркгейм рассматривает как тождественную биопсихической реальности [Гофман, 1974, 6]. «Общество, — пишет Дюркгейм, — представляет не просто сумму индивидов, но систему, образовавшуюся от ассоциации их и представляющую реальность... **наделенную своими особыми свойствами...**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Дюркгейм, 1899, 20].

«Социальный факт» в такой интерпретации оказывается независимым от индивидуального сознания и принудителен по отношению к индивиду [Дюркгейм, 1899, 8—9]. Социум в целом совершенно независим от составляющих его членов, хотя общество и понимается как системное целое, общество — «это реальность, которая есть столь же мало дело наших рук, как и внешний мир» [Дюркгейм, 1900, 275]. Таким образом, общество предстает как вне- и надиндивидуальный, самобытный феномен, противопоставляющийся, довлеющий над своими членами. Неправомерность подобной интерпретации взаимоотношения общества и индивида уже в эпоху Дюркгейма была убедительно показана в марксистской философии. В частности, К. Маркс прямо требовал не «противопоставлять общество как абстракцию индивиду» [К. Маркс, Ф. Энгельс, 1956, 590]. У Дюркгейма же социум выступает как некая «социальная личность», противопоставленная личности индивида [Dürkheim, 1901, 65]. Вся предметную область социологии Дюркгейм определяет как область «коллективного сознания», где «социальное» предстает как «институт», управляющий принудительно отдельным индивидом. «Отношение человек-общество, индивидуальное — социальное рассматривается как своеобразная **антиномия**» [Фотев, 1979, 26].

Вся концепция Э. Дюркгейма построена, по сути дела, на неверном соотношении «социального» и «индивидуального» и, в конечном счете, на идеалистическом понимании феномена «общественной жизни», порождаемой «общественным сознанием». Признавая системный характер «социума», Дюркгейм неправомерно отрывает от него «индивида». Индивид, таким образом, предстает не членом общества, не релевантным элементом системы отношений, вовлекаемым в эту систему, как можно было бы предположить, исходя из самого системного понимания общества, — индивид фактически оказывается вне общества, вне устанавливаемой в обществе системы отношений.

Гносеологические, философские основы концепции Э. Дюркгейма детально, с позиций марксизма проанализированы в со-

ветской социологии (см., например, цитированные работы Е. В. Осиповой, Е. М. Коржневой, И. С. Кона...). Связь ряда положений Соссюра с учением Э. Дюркгейма показана и объективно оценена советскими лингвистами (Н. А. Слюсарева, Г. В. Рамишвили...). Признают ее и зарубежные исследователи. Так, противоречивость положений Дюркгейма, сказавшихся в концепции Соссюра, видел и Э. Косериу, который подробно, по отдельным дефинициям и фразам прослеживает параллелизм между положениями Дюркгейма и тезисами Соссюра. В частности, подчеркивается, что, подобно тому, как у Дюркгейма социальный факт существует в самом обществе в целом, а не в его членах, так и у Соссюра язык полностью «существует в коллективе как совокупность впечатков, имеющих у каждого в голове... и находящихся вне воли тех, кто ими обладает» [Соссюр, 1977, 57]. Таким образом, социальная сущность языка оказывается независимой от индивида [Косериу, 1963, 162—165].

В наших целях особенно показателен тот факт, что в подобных условиях взаимоотношений с социумом сам человек оказывается двойственной реальностью, внутри которой индивидуальная и социальная реальности сосуществуют фактически отдельно друг от друга [Гофман, 1974, 19]. «Двойственный» по природе человек в своих действиях вынужден учитывать некоторые общественные явления в качестве **«внешних и ограничительных условий»** (подчеркнуто нами. — К. Л.), личность имеет определенные моральные ценности, которые, однако, по Дюркгейму, резко отличаются от «ценностей как общих элементов», которые оказываются «внешними и ограничительными» в отношении индивидуальных ценностей [Колб, 1981, 130].

Так понимаемый социум наделен своей особой функцией познания, принципиально отличающейся от познавательной активности индивида.

2.2. Познание социально, отмечает Э. Дюркгейм, поскольку источником его, субъектом процесса познания является общество в целом, а не отдельный индивид [Дюркгейм, 1902; Коржнева, 1968, 24]. При этом коллективное сознание, коллективное познание противопоставляется индивидуальному, ибо: «Группа мыслит, чувствует и действует совершенно иначе, чем это сделали бы ее члены, будь они не связаны между собой» [Дюркгейм, 1899, 91].

Коллективное сознание и познание рационально, осуществляется посредством понятий; индивидуальное же познание носит эмпирический характер и имеет чувственную природу. Первично, по Дюркгейму, социально именно понятийное, коллективное познание. Оно **безлично, принадлежит целому** (т. е. обществу), **объективно** (т. е. независит от индивида), **императивно и принудительно по отношению к индивиду**.

«Понятие в своей сфере, — пишет Э. Дюркгейм, — есть общее безличное представление, посредством которого связываются друг с другом люди», понятие принадлежит всему обществу, есть «порождение целого»; и далее: «понятие объективно и обязательно», оно «не только не зависит от нас, но внушается нам» [Durkheim, 1912, 619]. Понятия стабильны и характеризуются тенденцией к универсальности.

Э. Дюркгейм строго различает социальные и индивидуальные факты и подчеркивает — социальные факты и явления, которые способны оказать извне влияние на индивида, **«существуют независимо от индивидуальных проявлений»** (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Дюркгейм, 1899. 19].

В то же время, эмпирическое чувственное познание... индивидуально, субъективно и переменчиво... оно **«несоциально, ибо не создает социальных связей»** (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Durkheim, 1912, 619].

Социальное познание, по Дюркгейму, осуществляется посредством понятий, а социальный характер понятия, указывает автор, подтверждается, в частности, тесной связью понятия с языком. Язык же, в свою очередь, есть продукт коллективного сотрудничества.

Фактически Дюркгейм предлагает интерпретацию социальной сущности языка, в частности, рассматривает язык в ряду других социальных институтов и считает, что язык так же принудительно дается индивиду, как общественные установления, законы социальной жизни, нравы, обычаи и пр.

Принимая в целом дюркгеймовскую интерпретацию социального феномена, Соссюр подчеркивает императивную, независимую от индивида социальность языка, его связь с коллективным, рациональным сознанием: «Он (язык — К. Л.) является социальным продуктом, совокупностью необходимых условий, принятых коллективом...» [Соссюр, 1977, 47].

«Коллективное сознание», «коллективные представления» автономны, независимы от индивидов, которые «вынуждены неукоснительно принимать их» [Фотев, 1979, 32]. Язык, коррелирующий с «коллективными представлениями», «не деятельность (fonction) говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим» [Соссюр, 1977, 52].

Аналогично другим социальным институтам Дюркгейма, язык в готовом виде и в обязательном порядке дается индивиду: «Фактически, — отмечает Соссюр, — всякое общество знает и всегда знало язык только как продукт, который унаследован от предшествующих поколений и который должен быть принят таким, как он есть» [Соссюр, 1977, 105].

В интерпретации соотношения социального и индивидуального в языке Соссюр следует сложившейся в его время социологической теории, хотя теоретическая лингвистика уже тогда

накопила определенный опыт диалектического осмысления этой проблемы. Так, еще В. Гумбольдт подчеркивал не только связанную со всеобщностью обязательность и неизменность языка, но и возможность его изменения: «Так как каждый язык наследует свой материал из недоступных нам периодов истории, то духовная деятельность, направленная на выраженные мысли, имеет дело уже с готовым материалом: она не создает, а преобразует (подчеркнуто нами. — К. Л.). А это значит, что никто не может говорить с другим иначе, чем этот другой при равных обстоятельствах говорил бы с ним» [Гумбольдт, 1984, 71]. Иначе говоря, индивидуальный речевой акт зависит не только от императивного «языка», но и от другого речевого акта, и от условий, в которых протекает этот речевой акт. Примечательно, что с этих же позиций критически рассматривает принимаемое Соссюром противопоставление общего и индивидуального в языке Э. Косериу, отвергающий независимость «языка» как факта социального от индивидуальных актов «речи»: «...индивид не может изменить социальный факт, если другой индивид не примет это изменение. Это происходит не потому что социальный факт независим от данного индивида, а именно потому что он зависит и от одного, и от другого» [Косериу, 1963, 158].

Соссюр подчеркнул момент сохраняемости, передачи языка из поколения в поколение, но отказал при этом преобразующей язык речевой деятельности индивида в системности и социальности. Как справедливо замечает Н. А. Слюсарева, «...ограничение социальности лишь одной узкой областью (семиологическим аспектом — К. Л.) обедняет проблему, лишает ее диалектичности» [Слюсарева, 1975, 97].

Подобно индивиду Дюркгейма, стоящему как бы вне общества и, следовательно, оказывающемуся несоциальным, индивидуальный акт речи у Соссюра предстает как факт внесоциальный и внесистемный. Взаимозависимость между «языком» и «речью», их диалектическая связь фактически прерывается, та связь, которую столь ярко выразил еще Гумбольдт: «...язык и чужд душе и вместе с тем принадлежит душе, независим и одновременно зависим от нее...», «...язык... каждый раз испытывает на себе воздействие индивида, но это воздействие с самого начала сковано в своей свободе тем, что им производится и произведено» [Гумбольдт, 1984<sup>1</sup>, 83]. И далее В. Гумбольдт подчеркивает активную роль носителя языка: «В том, как язык видоизменяется в устах каждого индивида, проявляется, вопреки могуществу языка, власть человека над ним... За влиянием языка на человека стоит закономерность языковых форм, за исходящим от человека обратным воздействием на язык — начало свободы» [Гумбольдт, 1984<sup>1</sup>, 84].

Однако признание речи «началом свободы» предполагало необходимость методологически и методически строгого описания использования и преобразования языка в актах речи. В частности, приходилось решать проблему вариативности речи и перманентного языкотворчества, которое «протекает в рамках закономерностей общего языка... не является чисто индивидуальным, не противопоставляется социальному, а подчиняется ему, является результатом своеобразного использования этого последнего» [Шарадзенидзе, 1971, 43]. Соссюр же, как известно, всю долю «социальности» отдает «языку», а речь интерпретирует как «индивидуальный акт воли и разума» [Соссюр, 1977, 52].

Такое решение вопроса можно объяснить двумя обстоятельствами. С одной стороны, **современный Соссюру уровень описания речи не давал надежной основы для выявления ее социальности и системности.** С другой стороны, **социологическая система Дюркгейма, предполагавшая выделение двух объектов, предлагала определенную методологическую базу и тем самым — некоторую возможность упорядочения исследуемого объекта.**

Действительно, лингвиста, исходящего из социальной сущности языка, никак не может удовлетворить чисто индивидуалистическая трактовка последнего, согласно которой, например, «...язык... по-настоящему существует только в индивидууме...» [Остгоф, Бругман, 1956, 148]. Механизм согласования исходящих от индивида изменений с социально значимой системой языка в такой трактовке остается совершенно неопределенным. Вместе с тем не дает конкретного метода и общая констатация взаимозависимости индивидуального и социального в языке: «Будучи... творениями нации, — пишет Гумбольдт, — языки остаются, однако, созданиями индивидов, поскольку могут быть порождены каждым отдельным человеком, причем только тогда, когда каждый полагается на понимание всех, а все оправдывают его ожидания» [Гумбольдт, 1984<sup>1</sup>, 66].

Соссюр стремится более четко различить и осмыслить «социальное» и «индивидуальное» в языке.

Согласно позитивистскому пониманию общества, из отношений индивидов, в процессе ассоциации из фактов взаимодействия и коммуникации возникает качественно новое образование — социальная жизнь. Возникнув из индивидуальных актов, «социальная жизнь» получает независимое от них существование, наделяется своей особой «социальной личностью» и приобретает статус императивного по отношению к индивиду института (и, заметим, не предполагает в себе дальнейших изменений).

Соответственно, в членах языкового коллектива происходит «кристаллизация» (термин Соссюра), т. е. социализация актов речи:

«У всех лиц, общающихся вышеуказанным образом с помощью речевой деятельности, неизбежно происходит известного рода выравнивание» [Соссюр, 1977, 52]. Примечательно, что в русском переводе «Курса» 1933 года прямо говорится: «Между индивидами, которые связываются друг с другом в процессе речевого взаимодействия, с необходимостью образуется некоторая **средняя линия**» [Соссюр, 1933, 38]. Этот перевод лексически и содержательно ближе к соответствующему положению Дюркгейма. Иными словами, если в результате ассоциации индивидов возникает независимая от индивидуальных проявлений «социальная жизнь», то из актов речевой коммуникации формируется совершенно новый феномен — «язык», представляющий собой «сумму всех словесных образов, накопленных у всех индивидов», манифестирующую ту «социальную связь, которая и образует язык» [Соссюр, 1977, 52].

Однако возводимое в ранг антиномии различие «социального» языка и «несоциальной» речи логично приводит к заключению о формировании социального феномена из фактов несоциальных. Таким образом возникает наиболее неприемлемая дихотомия Соссюра, вызвавшая острую и справедливую критику в советском языкознании. Действительно, «...язык проявляется в речевой деятельности индивидов, и, если в индивидуальных речевых актах все индивидуально... ни о какой социальности человеческого языка речи быть не может» [Чикобава, 1941, 371]. В возникающем таким образом языке «социальности неоткуда будет взяться», тогда как на самом деле «...в индивидуальных речевых актах... отнюдь не все индивидуально...» [Чикобава, 1959, 117—118].

Вместе с тем нельзя не признать, что Соссюр далеко не во всем следует предлагаемой социологической модели. И эта самостоятельность Соссюра-лингвиста в интерпретации «социального» и «индивидуального» в языке отмечается специалистами. Так, Н. А. Слюсарева подчеркивает, что Соссюр не идет всецело за Дюркгеймом, так как пишет, что у речевой деятельности есть индивидуальная и социальная сторона и ни одну из них нельзя понять без другой. При этом он «подходил к разным концепциям (социологическим. — К. Л.), опираясь на богатый лингвистический материал своей творческой лаборатории» [Слюсарева, 1975, 208].

Соссюр достаточно подробно останавливается на связи «языка» и «речи» и замечает, что «язык необходим, чтобы речь была понятна... речь, в свою очередь, необходима для того, чтобы сложился язык; исторически факт речи всегда предшествует языку» [Соссюр, 1977, 57]. Но системность, социальность самых первых актов речи, уже способных служить средством коммуникации, в этих суждениях остается невыраженной. Более того, в результате приложения идеи ассоциа-

ции индивидов (порождающей социальный факт) к речевой коммуникации возникает еще одно известное положение Соссюра: «Язык — клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу» [Соссюр, 1977, 53].

Однако эта дефиниция не подчеркивает социальную сущность речезыковых актов, возникающих «лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми...» [Маркс, т. 3, 28—29].

Само представление об изначальной социальной сущности речевого акта, о том, что уже «на первых этапах становления и развития человека... внешне выраженные акты речи имели место только в процессе общения, т. е. при наличии адресата» [Панфилов, 1983, 8], в эпоху Соссюра уже было обосновано марксистской философской мыслью. С иных позиций, но весьма ярко идея «всеобщности» акта порождения языка была выражена и в языкознании: «Это воодушевление (породившее язык. — К. Л.), — пишет В. Гумбольдт, — должно было охватить всех индивидов сразу, каждый здесь нуждался в поддержке других, — ведь всякое вдохновение разгорается только в опоре на уверенность, что тебя понимают и чувствуют» [Гумбольдт, 1984<sup>1</sup>, 49].

Соссюр также предполагал изначальную социальность акта речи, поскольку признавал, что порождающая языковой знак «ассоциация понятия со словесным образом... предварительно имела место в акте речи» [Соссюр, 1977, 57]. Соссюр, фактически, признавал и роль коммуникантов, ибо «только слушая других, научаемся мы своему родному языку» [Соссюр, 1977, 57]. Более того, Соссюр отмечает и значение речи как источника преобразования языка: «...именно явлениями речи обусловлена эволюция языка: наши языковые навыки изменяются от впечатлений, получаемых при слушании других» [Соссюр, 1977, 57]. Очевидно, «менять языковые навыки» и «отлагаться» в сознании в виде «языка» способны «факты речи», имеющие более, чем только индивидуальную ценность. И все-таки Соссюр утверждает, что «в речи нет ничего коллективного» [Соссюр, 1977, 57].

Противоречивый и несколько неожиданный вывод объясняется, возможно, тем, что социально значимый акт порождения языка Соссюр относит к отдаленному во времени, навсегда утраченному для наблюдения этапу социальных актов речетворчества:

«Нетрудно себе представить возможность в прошлом акта, в силу которого в определенный момент названия были присвоены вещам... Хотя реально такой акт никогда и нигде не был засвидетельствован», а в любую последующую эпоху «язык всегда выступает как наследие предшествующей эпохи» [Соссюр, 1977, 104].

Таким образом, некогда возникнув из актов речи, язык получает самостоятельное, независимое от них существование и предстает как «система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку» [Соссюр, 1977, 51]. Удовлетворительной методикой системного описания языкотворческой функции речи современная Соссюру лингвистика не располагает, механизм воздействия речи, а через нее — социума на язык неясен. Поэтому на долю речи остается только пассивное воспроизводство языка, лишь индивидуальные комбинации [Соссюр, 1977, 57] уже созданных, готовых средств языкового выражения. В отношении, по крайней мере, доступных наблюдению или любых представимых исторических этапов раз и навсегда сформировавшегося языка «Соссюр не признал роль общества как творца, а не только носителя языка» [Слюсарева, 1974, 6—7].

Выше было показано, что Дюркгейм выделял две стороны познания, при этом существенной, социальной оказывалась лишь одна часть — коллективное познание. Аналогично Соссюр вычленяет две стороны единого феномена — речевой деятельности: «У речевой деятельности есть две стороны: индивидуальная и социальная, причем одну нельзя понять без другой» [Соссюр, 1977, 47]. И хотя Соссюр не проводит столь резкой грани между социальным и индивидуальным, признает необходимость изучения языка и речи во взаимозависимости, он все-таки склоняется к приоритету языка: «Язык — только определенная часть — правда, важнейшая часть речевой деятельности» [Соссюр, 1977, 47].

«Язык», по Соссюру, оказывается важнейшей частью общего феномена «речевой деятельности» постольку, поскольку речь, подобно чувственному, индивидуальному познанию Дюркгейма, которое «не создает социальных связей», «принадлежит индивиду», т. е. «исполнение... всегда индивидуально, и здесь всецело распоряжается индивид; мы будем называть это речью» [Соссюр, 1977, 51]. Язык же «представляет собой социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду» [Соссюр, 1977, 51]. Примечательно, что в русском переводе 1933 г. вместо слова «аспект» фигурирует «элемент», что также ближе к суждениям Э. Дюркгейма, точнее передает всю направленность его мысли.

### **§ 3. Понимание языка как особого социального установления**

Прослеженный выше параллелизм может привести к заключению, что Соссюр непосредственно воссоздает применительно к языку господствовавшую в социологии его времени точку зрения. Такой вывод действительно был сделан. В частности, Э. Косериу, рассматривая дюркгеймовскую интерпретацию социального факта, сосредотачивается на неправомерности

отрыва социального от индивидуального и подчеркивает, что «не социальный факт внешен по отношению к индивиду», а «индивид» Дюркгейма стоит вне общества [Косериу, 1963, 118]. Далее, считая, что Соссюр целиком и полностью принимает противопоставление Дюркгейма, Косериу приходит к заключению, согласно которому «социологическая концепция Соссюра нередко представляет собой перевод натуралистической концепции Шляйхера на язык социологии» [Косериу, 1963, 164].

Вывод Косериу неадекватен, хотя бы потому, что в таком случае все послессоссюровское языкознание пришлось бы считать частью социологии, в то время, как сам Соссюр такой интерпретации вовсе не предполагал. Как справедливо замечает Г. В. Рамишвили: «Опасность превращения лингвистики в «провинцию социологии» могла бы быть реальной, если бы Соссюр полностью основывался на Дюркгейме» [Рамишвили, 1978, 76]. Рассмотрим основные, наиболее существенные с точки зрения интересующей нас проблемы отличия лингвистического учения Соссюра от общесоциологической теории Дюркгейма, позволяющие одновременно высветить и расхождения с принципами французского лингвистического социологизма.

3.1. Выше мы видели, что, различая два аспекта, две стороны в речевой деятельности, Соссюр тем не менее признавал необходимость изучения «социального» и «индивидуального» во взаимозависимости. Косериу же видит здесь лишь «гениальную догадку» и считает, что «Соссюр сам не сознавал значения этой догадки» [Косериу, 1963, 162].

Однако Соссюр уходит еще дальше от Дюркгейма в интерпретации социальной сущности самого «языка», подчеркивая неправомочность отождествления его со всеми прочими социальными установлениями.

Признавая одним из проявлений социальной сущности языка его императивность и независимость от индивидуальной воли носителей, Соссюр, тем не менее, ни разу не упоминает Дюркгейма. «В сфере лингвистики, — считает Э. Косериу, — Соссюр принял учение Дюркгейма о социальном факте, хотя имя Дюркгейма ни разу не появляется в «Курсе», и следует ему до деталей и фразеологии» [Косериу, 1963, 162]. Однако Соссюр неоднократно отмечает, что «язык есть общественное установление, которое во многом отличается от прочих установлений» [Соссюр, 1977, 54]. И далее, сам язык как факт социальный «можно сравнить с нравами и обычаями... но аналогия с нравами и обычаями очень далека» [Соссюр, 1977, 55]. Вместе с тем в связи с интерпретацией социальной сущности языка Соссюр ссылается на У. Уитни, в работе которого он действительно мог найти определение языка как общественного явления [Слюсарева, 1972]. Но лингвист Уитни подмеча-

ет в социальном феномене то, что ускользает от внимания социолога Дюркгейма, хотя и манифестирует существенный признак языка как особого социального явления — произвольный характер знака. Оценивая положение Уитни о том, что язык есть человеческое учреждение, Соссюр признавал, что это изменило «ось лингвистики» (Soseure, 1954, 60). Вместе с тем Соссюр не соглашается и с Уитни в общей трактовке социальности языка: «...Уитни, приравнивающий язык к общественным установлениям со всеми их особенностями, полагает, что мы используем органы речи в качестве орудия речи чисто случайно... Несомненно, такой тезис чересчур абсолютен: **язык не есть общественное установление, во всех отношениях подобное прочим** (подчеркнуто нами. — К. Л.)... Но по основному пункту американский лингвист, кажется, безусловно прав: язык — условность, а какова природа условно выбранного знака, совершенно безразлично» [Соссюр, 1977, 48]. Соссюр обращается к Уитни еще раз, совершенно эксплицитно подчеркивая наиболее существенную особенность суждений американского лингвиста: «Желая ясно показать, что язык есть общественное установление в чистом виде, Уитни справедливо подчеркивал произвольный характер знаков: **тем самым он направил лингвистику по правильному пути** (подчеркнуто нами. — К. Л.). Однако он... не разглядел, что своим произвольным характером язык резко отличается от всех прочих общественных установлений» [Соссюр, 1977, 108].

Именно в силу своей произвольности язык не может быть изменен сразу весь и внезапно, по сознательному намерению, а постольку «не может быть уподоблен простому договору» [Соссюр, 1977, 105]. Необходимость преемственности и понимания не исключает эволюции языка, но препятствует его всецелому и единовременному изменению, что допустимо в отношении прочих социальных установлений: «Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени» [Соссюр, 1977, 107]. Поэтому не совсем правомерно предполагать, что язык в интерпретации Соссюра отличается от других социальных институтов лишь своим объемом. Некоторые дефиниции Соссюра действительно дают повод для подобного заключения. «Язык, — пишет Соссюр, — можно сравнить с письмом, азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами... Он только наимважнейшая из этих систем» [Соссюр, 1977, 54]. И далее: «...в каждый данный момент язык есть дело всех и каждого» [Соссюр, 1977, 105]. Но в силу своей произвольности язык, по Соссюру, отличается не только от всех прочих социальных установлений, но и от других членов класса выделяемых им семиологических феноменов.

По сути дела, Соссюр пришел к важнейшему с точки зрения дальнейшего развития представлений о социальной природе языка пониманию того, что язык не является обычным социальным институтом.

В отличие от всех прочих «социальных установлений», от семиологических объектов разного типа, язык может быть охарактеризован как «естественно данная социальная система» [Рамишвили, 1976, 81]. Понимание особой природы языка как явления социального в эпоху Соссюра уже было сформулировано и в языкознании, и в философии. Эта идея, в частности, явственно звучит в емком положении В. Гумбольдта: «Большая часть обстоятельств, сопровождающих жизнь нации... религия, государственное устройство, нравы, обычаи от самой нации могут быть в известной степени отделены, возможно, они могут быть обособлены. И только одно явление совсем иной природы (подчеркнуто нами. — К. Л.) — язык. — возникает одновременно с ней» [Гумбольдт, 1984<sup>2</sup>, 303].

Неправомерность отождествления языка со всеми иными социальными установлениями вытекает уже из классического материалистического определения: «Язык так же древен, как и сознание... подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми...» [Маркс, Энгельс, т. 3, 28]. Таким образом, в «Немецкой идеологии» сформулировано важнейшее положение о том, что «ни язык, ни человеческое сознание и мышление не предшествуют друг другу... — они возникают одновременно» [Панфилов, 1983, 7]. Соссюр также приходит к существеннейшему заключению о принципиальном отличии языка от всех прочих социальных установлений, но отталкиваясь от социологических дефиниций Дюркгейма. Хотя в «лингвистике языка» на первый план выдвигаются собственно семиологические характеристики языка (в определенной мере, как нам представляется, из методологических соображений), получившие наибольшее распространение в последующем соссюрианстве. С осознанием названной выше неправомерности и было связано преодоление вульгарного социологизма в языкознании.

3.2 Построенный на принципе произвольности социальный феномен наделяется важнейшим признаком (или свойством): ценности, в силу которого язык «всюду и всегда... предстает... как сложное равновесие обуславливающих друг друга членов системы» [Соссюр, 1977, 154]. Понятие ценности, с одной стороны, дает Соссюру возможность подчеркнуть необходимость последовательного, научно оправданного системного анализа исследуемого объекта, а с другой стороны, здесь проявляется еще одно существенное отличие Соссюра от Дюркгейма. Действительно, как мы видели выше, Дюркгейм оперирует поня-

тием внешней по отношению к индивиду моральной ценности. Более того, Дюркгейм признается создателем понятия ценности в социологии [Пэлмен, 1981, 103]. Однако само понятие «ценности» в интерпретации Дюркгейма не возводится в ранг важнейшего конституирующего принципа объекта ни в отношении социального познания, ни в отношении самого «порождаемого коллективным сознанием социума» [Коржнева, 1968, 34]. И хотя марксистское учение, как признают советские исследователи, оказало определенное влияние на теорию познания Дюркгейма [Коржнева, 1968, 25], общество в социологии Дюркгейма все-таки предстает как «ассоциация индивидов», в то время как уже «К. Маркс положил конец представлению об обществе как механическом агрегате индивидов» [Ленин, т. 1, 13]. Для Соссюра же «ценность» оказывается важнейшим параметром социального феномена — языка, и таким образом «...Соссюр уходит далеко от положений Дюркгейма, когда пишет, что язык — это система, все члены которой взаимосвязаны и в которой ценность одного члена вытекает из одновременного присутствия других» [Слюсарева, 1975, 107].

Понимание системно-ценностной организации языка как «человеческого учреждения» отсутствует и у Уитни. Последний все-таки считал язык «простой совокупностью употреблений, доминирующих в определенной общности», «суммой отдельных языков всех членов общества» [Белый, 1982, 54]. И в этом, видимо, еще один пункт несогласия Соссюра с Уитни.

Соссюра (так же, как А. Мейе) занимает проблема наиболее общих законов, регулирующих функционирование языка, и места лингвистики в системе научных знаний. Решает он эту проблему иначе, чем Мейе, и иначе, нежели можно было бы предполагать, исходя из социологических установок Дюркгейма.

Язык как систему произвольных, обладающих ценностью знаков, Соссюр не включает в социологию. «...заметив, что знак надо изучать как общественное явление, — пишет Соссюр, — обращают внимание лишь на те черты языка, которые связывают его с другими общественными установлениями», но при этом упускают «те черты, которые присущи только или семиологическим системам вообще, или языку в частности. Ибо знаки всегда до некоторой степени ускользают от воли как индивидуальной, так и социальной» [Соссюр, 1977, 55].

Лингвистика, по Соссюру, как известно, предстает как часть семиологии, «изучающей жизнь знаков в рамках жизни общества», а «законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике» [Соссюр, 1977, 55]. Вместе с тем язык занимает особое место и в совокупности семиологических явлений, и, изучая язык «как таковой, а не в зависимости от чего-либо другого, с чуждых ему точек зрения», можно будет «найти лингвистике место среди наук» [Соссюр, 1977, 54]. Та-

кова общеизвестная программа Соссюра. В наших целях существенно отметить, что языкознание не объявляется «частью социологии», а законы лингвистики не отождествляются с социологическими. Владение обширным эмпирическим языковым материалом «позволяло ему отвергать возможность толковать лингвистические законы как законы социологии» [Слюсарева, 1975, 108].

3.3. В «Курсе» встречается целый ряд соображений и замечаний, позволяющих судить о предполагавшейся Соссюром роли «языка» как основы для последующего системного изучения речевой деятельности. Таким образом возникает возможность глубже оценить те элементы позиции Соссюра, которые как бы оказались в тени его же наиболее ортодоксально-социологических положений.

Если изучать речевую деятельность, считает Соссюр, одновременно с разных точек зрения, то «объект лингвистики выступает... как груда разрозненных, ничем между собой не связанных явлений» [Соссюр, 1977, 47]. Отсюда вытекают серьезные затруднения методологического порядка, ибо сама речевая деятельность «относится и к сфере индивидуального, и к сфере социального; ее нельзя отнести определенно ни к одной категории явлений человеческой деятельности»... [Соссюр, 1977, 48]. Выход из создавшегося в современной ему лингвистике положения (по словам самого Соссюра — «есть только один выход из всех этих затруднений» [Соссюр, 1977, 47]) он видит в вычленении особого объекта, допускающего возможность последовательного, строго системного анализа: «Язык, выделенный... из совокупности явлений речевой деятельности... занимает особое место среди проявлений человеческой речи» [Соссюр, 1977, 53] и вносит «единство в речевую деятельность» [Соссюр, 1977, 49].

Таким образом, язык призван упорядочить несистемную, на первый взгляд, стихию речи, внести необходимую для последующего анализа степень детерминации: «Язык, — отмечает Соссюр, — представляет собой целостность сам по себе, являясь... отправным началом (подчеркнуто нами. — К. Л.) классификации. Отводя ему первое место среди явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в ту совокупность, которая иначе вообще не поддается классификации» [Соссюр, 1977, 48].

Сама логика суждений Соссюра не отвергает необходимости изучения динамики языка в связи с разнообразными социально-историческими факторами: «Мы считаем весьма плодотворным изучение «внешнелингвистических» (кавычки Соссюра. — К. Л.), то есть внеязыковых явлений; однако было бы ошибкой утверждать, будто без них нельзя познать внутренний организм языка» [Соссюр, 1977, 60]. Зависимость язы-

ка от «внешнелингвистических» факторов на известном Соссюру уровне развития лингвистики и социологии не поддается научному анализу, а потому «вообще говоря, нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался... язык» [Соссюр, 1977, 61]. Выделенный таким образом системный язык может стать основой для дальнейшего системного же изучения речи. Отсюда вытекает и дефиниция задач лингвистики: «...надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием (попте) для всех прочих проявлений речевой деятельности» [Соссюр, 1977, 47]. Можно предположить, что именно здесь, а не в последней фразе наиболее полно выражена концепция Соссюра. Как совершенно справедливо замечает Н. А. Слюсарева: «Соссюр представлял себе задачи лингвистики гораздо шире, чем это выражено в заключительной фразе канонического текста, все же мы не можем ее отбросить» [Слюсарева, 1975, 93].

Внешняя лингвистика представляется Соссюру неким набором несистемных (точнее было бы сказать — несистематизированных) факторов и явлений эволюции и «может нагромождать одну подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками системы» [Соссюр, 1977, 61], а потому может быть отодвинута на второй план.

Интерпретация «языка» как некоторого ядра, дающего основание для изучения всего многообразия явлений речи, была не чужда самому Соссюру. Н. А. Слюсарева приводит поразительную фразу из записок Соссюра, которую можно считать решением вопроса «языка» и «речи» в совершенно ином плане, чем это предполагало дюркгеймовское противопоставление «социального» и «несоциального», социального как чего-то совершенно нового и независимого, порождаемого из фактов несоциального порядка.

«Языки, — пишет Соссюр, — это конкретный объект на поверхности земного шара, который предлагается лингвисту. Язык — это заглавие можно дать тому, что будет **выведено** лингвистом на основе его наблюдений над совокупностью языков» [см. Слюсарева, 1977, 95].

Интерпретация «языка» как методологической основы, гносеологической базы для изучения речи встречается и в после-соссюровском языкознании:

«Соотношение между языком и речью представляет собой просто отношение между научным анализом, абстракцией, синтезом, классификацией, то есть научной интерпретацией фактов, с одной стороны, и определенными явлениями действительности, составляющими объект этого анализа, абстракции и т. д. — с другой» [Коржинек, 1967, 317]. К такому же пониманию данной дихотомии приходит, например, И. Б. Рамишвили, отмечая, что в качестве объекта наблюдения лингвисту

дается нерасчлененная стихия речи, а «выделение языка и речи — есть результат научного гипостазирования» [Рамишвили, 1977, 250].

Учитывая изложенную выше возможную интерпретацию языка, вряд ли можно считать справедливым утверждение о том, что специальный термин «язык» понадобился Соссюру только для того, чтобы приписать «системность» не индивидуальной речи, а всему социуму в целом, и что «в этой части своего учения Соссюр опирается на социологию Дюркгейма» [Косериу, 1963, 158].

Вместе с тем представление Соссюра о несистемности речи особенно наглядно проявляется в сопоставлении с иной социологической традицией его времени. Стремление примирить императивный «социальный» объект с изменчивой стихией речи и требование изучать эти объекты, хоть и в двух, но все-таки лингвистиках — «лингвистике языка» и «лингвистике речи» — исследователи объясняют влиянием современника и оппонента Дюркгейма, другого известного французского социолога Ж. Тарда.

#### § 4. «Императивность» и «традиционность» в преемственности языка

4.1. Наиболее характерной чертой социологизма Э. Дюркгейма в интересующем нас плане, наряду с признанием императивности «социального факта», является вытекающая отсюда «статичность». В каждый данный момент существования социума «социальный факт», согласно Дюркгейму, задается отдельному индивиду (а по сути дела — и всему социуму в целом) как нечто уже сформировавшееся и фактически неизменное. Интерпретация социальных фактов в социологии Дюркгейма, справедливо отмечает Н. А. Слюсарева, не предполагает социальных изменений [Слюсарева, 1975, 91].

В лингвистической концепции Соссюра эта особенность социологической теории находит параллель в выдвигаемой на первый план строгой детерминативности «языка». Хотя при этом сам Соссюр вовсе не отвергает непрерывной эволюции языка. «Неизменяющихся признаков, — пишет Соссюр, — по существу не бывает» [Соссюр, 1977, 266].

Социологическое учение Ж. Тарда в сопоставлении с концепцией Э. Дюркгейма отличается определенным динамизмом, стремлением рассмотреть сам социальный факт в его становлении. Ж. Тард предусматривает изменение и непрерывное появление все новых социальных фактов, обуславливаемое и регулируемое процессами «изобретения» и «подражания». Полемизируя с Дюркгеймом, Тард настаивает на указанной особенности своего учения и подчеркивает, что ему «удалось

найти ключ ко всем социальным явлениям», и объяснение это заключается именно в открытых им «законах подражания». «...социальный организм, — отмечает Ж. Тард, — по существу подражателен... подражание в обществе играет роль, аналогичную наследственности в физиологическом организме» [Тард, 1892, 2].

Имя Тарда в связи с лингвистической концепцией Ф. де Соссюра одним из первых назвал польский лингвист В. Дорошевский, который еще в 1930 г. в специальной работе выступил против разграничения языка и речи [Doroszewski, 1930] и которого Н. С. Трубецкой охарактеризовал как лингвиста, сознательно, в силу убеждений не признающего дихотомий Соссюра [Т. Шарадзенидзе, 1971, 17].

В 1931 г. на II международном конгрессе лингвистов в Женеве В. Дорошевский отметил, что ему из достоверных источников известно, что Соссюр с большим интересом следил за полемикой между Дюркгеймом и Тардом (подчеркнуто нами. — К. Л.). Дорошевский утверждал, что противопоставление «языка» и «речи» в учении Соссюра представляет собой отклик противоборствующих идей двух известных французских социологов. При этом ригоризм понятия «язык», считает Дорошевский, объясняется влиянием Дюркгейма, в то время как интерпретация факта «речи» восходит к идеям Тарда [Doroszewski, 1933, 90—91].

Это положение продержалось в лингвистике достаточно долго. Еще в 1975 г. ту же мысль, ссылаясь на Дорошевского, в специальной работе, посвященной Соссюру, повторил французский лингвист Л. Кальв. Он отметил, что Соссюр попытался синтезировать социологические концепции Дюркгейма и Тарда и получил таким образом бинарное понятие «язык/речь». Правда, автор тут же оговаривается, что это всего лишь гипотеза [Calve, 1975, 83].

Иную, более оправданную позицию занимает Н. А. Слюсарева. Если Дорошевский, а вслед за ним Кальв результат осмысления Соссюром двух социологических учений усматривали в формировании оппозиции «язык — речь» и, преимущественно, в понимании «речи», то Слюсарева прослеживает влияние Тарда в интерпретации собственно «языка», а точнее — в понимании характера его сохранения и преемственности, в понимании соотношения между социальным и пассивным, активным и индивидуальным. Здесь «Соссюр стремится к своеобразному примирению теорий двух французских социологов — Дюркгейма и Тарда» [Слюсарева, 1975, 13]. Далее исследователь приходит к заключению, что «Соссюр творчески переосмыслил контраверзу «Дюркгейм — Тард» и на этой основе сформулировал свою оригинальную точку зрения: «В противовес законов принуждения Дюркгейма и законов подражания

Тарда Соссюр выдвинул закон традиции, который господствует в языке как социальном явлении» [Слюсарева, 1975, 42]. Основание для такого заключения дают анализ аргументации Соссюра и конкретное положение, венчающее его рассуждения о стабильности, неизменности и преемственности языка: «Именно потому, — подчеркивает Соссюр, — что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции, и наоборот, он может быть произволен только потому, что опирается на традицию» [Соссюр, 1977, 107].

Таким образом, в предполагаемых результатах синтеза двух социологических концепций можно выделить три допущения:

1. Становление самой оппозиции «язык—речь».

2. Замену жесткой императивности социального феномена принципом «традиции».

3. Интерпретацию второго члена оппозиции и стремление найти место изменениям речи в общей системе науки о языке.

Однако сопоставление лингвистической концепции Соссюра с соответствующими положениями Дюркгейма и Тарда еще раз убеждает в творческой самостоятельности Соссюра по всем трем позициям.

4.2. Соотношение признаков «языка» с социологическими дефинициями Дюркгейма было рассмотрено в предыдущих параграфах. Анализ дихотомий Соссюра показывает, что утверждение (Дорошевский) или предположение (Кальв) о том, что Соссюр оригинален в различии «языка» и «речи», а сама дихотомия получена в результате синтеза учений двух современных ему социологов не согласуется с историей философской и лингвистической мысли. В частности, прослеживая историю сформулированных Соссюром оппозиций и оценивая воззрения ряда его предшественников, Т. С. Шарадзенидзе приходит к заключению, в соответствии с которым «вышеназванными языковедами (В. Гумбольдт, Г. фон дер Габеленц, Бодуэн де Куртенэ, Ф. Финк... — К. Л.) не исчерпывается список ученых, еще до Соссюра различавших язык и речь. Более глубокое изучение истории развития лингвистики, возможно, выявит новых авторов» [Шарадзенидзе, 1971, 15].

Таким образом, представление о двух феноменах — языке и речи — было присуще еще дососсюровской лингвистической и философской мысли. Однако специфичной для Соссюра остается четкая бинарная система параметров, характеризующих каждый из членов оппозиции, в том числе, противопоставление «языка» и «речи» по признаку социальное/несоциальное. Вместе с тем выделение в рамках речевой деятельности особого, собственно социального объекта, с одной стороны, как было показано, находит аналогию в социальной теории познания Дюркгейма, а с другой — представляет собой один из фун-

даментальных принципов всей разрабатываемой лингвистической концепции, а не просто «синтез» учений Дюркгейма и Тарда.

Следовательно, первое допущение, относящееся, по сути дела, к начальному этапу изучения концепции Соссюра, приходится признать необоснованным, а возникновение его, видимо, объясняется недостаточным вниманием к истории языкознания.

4.3. Понятие «традиции», заменяющее «императивность» Дюркгейма и «подражание» Тарда, в значительной мере вытекает из стремления определить сущность лингвистического закона. Будучи явлением социальным, язык тем не менее, подчеркивает Соссюр, регулируется иными по характеру законами, нежели все другие общественные установления (что полностью согласуется с присущим Соссюру пониманием особой социальной природы языка); «...всякий общественный закон, — отмечает Соссюр, очевидно, имея в виду дефиниции дюркгеймовского толка, — является императивным и всеобщим» [Соссюр, 1977, 124]. И все-таки принцип императивности применительно к языку Соссюр трактует иначе, чем Дюркгейм: «...мы ведь понимаем слово «императивный» не в смысле обязательности по отношению к говорящим — отсутствие императивности означает, что в языке нет никакой силы, гарантирующей сохранение регулярности» [Соссюр, 1977, 125]. Постольку синхронический закон оказывается общим, но не «императивным» (в понимании Дюркгейма). «Императивность» диахронического закона также недостаточна, ибо «диахронические события всегда в действительности носят случайный и частный характер» [Соссюр, 1977, 122].

Таким образом, отличие «традиции» от «императивности» очевидно.

С другой стороны, «традиционность» языка отличается и от «подражательности» социального факта. В учении Ж. Тарда «социальное» не противопоставляется «индивидуальному», изобретение, например, не задается социуму императивно, а служит лишь объектом подражания, причем, не пассивного, а целесообразного и выборочного, протекающего по определенным закономерностям — «Социальный человек характеризуется... стремлением к пользе и истине» [Тард, 1982, 95]. Социальный факт по Тарду, в отличие от императивности Дюркгейма, не столько облигаторен по отношению к массе, сколько возникает в результате ее активности и вызывает стремление к воспроизводству — «подражанию». «Подражание» противопоставит «императиву», поскольку социальный факт в интерпретации Ж. Тарда не может существовать только как нечто данное извне, только в силу императивности — «...известны и другие виды социальных связей».

В отношении языка Ж. Тард допускает и заданность извне (в виде «изобретения») и принятие (в виде «подражания»): «Язык, т. е. слово было изобретено... объектом подражания стала сама возможность изобретения слов» [Тард, 1892, 251]. Стало быть, масса не столько пассивно воспроизводит готовую «связь звука с мыслью», сколько по аналогии создает другие связи. С другой стороны, Тард подчеркивает и момент воспроизведения, принятия раз заданного и существующего: «Кто-то впервые связал звук с мыслью и внушил эту связь другим...» [Тард, 1892, 210].

Далее, само «подражание» у Тарда может быть и «императивным» и свободным, продиктованным лишь «стремлением к истине». «Каждое... новаторское начинание, — пишет Тард, — ...распространяется путем подражания, **вынужденного или добровольного**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Тард, 1892, 2].

Тард отмечает, что собственно подражательный или императивный характер «социального факта» не столь существенен, главным остается критерий истины. При этом Тард замечает, что и Дюркгейм не отрицает факт подражания в социальной жизни, поскольку признает, что люди «подражают каждому социальному акту» [Тард, 1901, 3].

Таким образом, **наиболее существенное отличие выдвигаемого Соссюром принципа «традиции» от «подражания» Тарда заключается не в допустимой степени «императивности», а в самом характере «подражания», предполагающего целесообразный выбор.**

Соссюр прямо указывает основу «традиции» — «произвольность» языкового знака («именно потому, что знак произволен...»), лишаящую возможности выбора:

«Можно... спорить, какая форма брака рациональнее, обсуждать систему символов... в отношении языка же... нет никаких оснований для того, чтобы предпочесть означающее *seur* означающему *sister* для понятия «сестра» [Соссюр, 1977, 106].

Примечательно, что Тард аналогично обосновывает функционирование общего для всего социума языка и специально подчеркивает: язык существует в силу «строгого требования произвольности», следовательно в силу подражательности [Тард, 1892, 195]. Далее Тард обнаруживает истинно соссюровское понимание «произвольности»:

«Нет никакой логической связи между объектом и словом, но люди пунктуально следуют обычаю использовать установленные слова» [Тард, 1892, 196]. Однако, признавая «произвольность» языка, Соссюр и Тард делают противоположные выводы.

Вытекающий из «произвольности» принцип «традиции», как мы видели, по сути дела не оставляет носителю языка свободы выбора. В то время как основанное на той же произволь-

ности «подражание», по Тарду, осуществляется в соответствии с определенными закономерностями, имеющими в виду «пользу и истину».

Так понимаемая «традиционность» уже сама по себе выводит язык из ряда всех других социальных установлений.

Тард же не замечает совершенно особого характера «языкового подражания» и распространяет на язык тот же механизм подражания, который, согласно его концепции, действует во всех социальных установлениях.

Существенно различный характер «подражания» и «традиции» обнаруживает необоснованность упомянутого выше предположения о роли социологии Ж. Тарда в интерпретации «речи», что и будет рассмотрено в следующем разделе.

4.4. Человеческое поведение, порождающее социальный факт, «определяется изобретениями, открытиями и подражанием» [Тард, 1892, 2]. «Изобретения», по Тарду, представляют собой гениальные идеи выдающихся людей: «Изобретение есть любое новшество в социальном явлении любого типа — в языке, религии, политике, праве...» [Тард, 1892, 2].

«Изобретение», служащее образцом для «подражания» массы, в своих истоках независимо от социума; изобретение гениальной личности не противопоставляется подражающей массе, или индивидууму и не может навязываться ему; каждое новое изобретение опять-таки обуславливается подражанием; изобретатель — и тот, кто открывает нечто принципиально новое, и тот, кто впервые подражает чему-то существующему, создавая что-то новое, аналогичное и вместе с тем отличное от него: «Подражание оказывает влияние на изобретение» [Тард, 1892, 94].

Таким образом, «подражание» и «изобретение» неразрывно связаны друг с другом. «Изобретение», предлагающееся обществу, не противопоставляется многочисленным актам «подражания»/«принятия» как социальное — индивидуальному, оба момента необходимы для становления социального факта, в сочетании они порождают нечто внешнее — социальный факт. Более того, социальная санкция остается прерогативой подражающей массы. «Подражание» (как функция массы) не просто «оказывает влияние на изобретение», но и служит источником формирования и изменения все новых и новых изобретений.

«Изобретение», «подражание» и изменение, создание нового диалектически взаимосвязаны, предопределяют и направляют друг друга. Эта мысль находит прямое выражение в одном из фундаментальных положений Тарда, согласно которому социальный факт не существует «без всех своих индивидуальных проявлений» [Тард, 1901, 250].

«Изобретение» также не независимо не только от «принятия», но и от всех других изобретений, опирается на предшествующие изобретения, и в результате борьбы двух идей, их взаимного логического примирения, приспособления новое изобретение получает социальный статус [Тард, 1901, 115—117]. Можно признать, что в такой интерпретации даже индивидуальный акт изобретения оказывается уже в зародыше социальным по своему характеру, во всяком случае, это — акт социального индивида, учитывающего и все другие изобретения и потребности социума в новом.

Наиболее показательно в наших целях определение характера протекания процессов изобретения и подражания.

Правда, социум можно представить, пишет Тард, как «мир пассивного подражания, в котором.. разбросана изобретающая фантазия» [Тард, 1892, 98]. Но вместе с тем стихия подражания не остается действительно пассивной, бессистемной и хаотичной; подражательная, принимающая (или отвергающая) активность закономерна, целенаправленна, характеризуется, по словам Тарда, стремлением к «верному выбору». Все социальное поведение человека определяется целесообразностью, а не пассивным подражанием: «Социальный человек характеризуется не склонностью к подражанию, а стремлением к пользе и истине» [Тард, 1892, 95].

Поэтому «подражание» протекает по определенным логическим и «внелогическим» законам [Тард, 1892, 145]. «Принятие» (т. е. подражание) регулируется «законом логических соединений», который, по Тарду, является общесоциологическим законом [Тард, 1901, 266].

«Подражание» и «изобретение» не только тесно взаимосвязаны, но и отличаются друг от друга, в частности, особенность «подражания» заключается в его целенаправленности и закономерности:

«Законам подчиняется подражание, а не изобретение... ряд мелких изобретений... законам не подчиняется» [Тард, 1892, 147].

Тард пытается четко противопоставить с точки зрения системности «изобретения» и «подражание». Считая социальное изобретение плодом гениального озарения, он не подводит его под какие-либо ограничивающие «законы». Но «изобретения» все-таки учитывают и предшествующие и смежные изобретения, а также волю социума, испытывая влияние со стороны подражания. Таким образом, и индивидуальное творчество — изобретение, и реакция социума на этот факт в равной мере оказываются социальными, главное — системными.

Для Тарда не имеет существенного значения, посредством какого именно подражания распространяется новшество в социальной жизни: «...каждое новаторское начинание, внося в

мир новые потребности и новые средства удовлетворения этих потребностей, распространяется путем подражания, **вынужденного или добровольного** (подчеркнуто нами. — К. Л.), обдуманного или подсознательного... но всегда верного» [Тард, 1892, 3]. Следовательно, подражание может быть и принудительным, императивным, и добровольным, осозанным. Этот момент Ж. Тард, очевидно, полемизируя с Дюркгеймом, неоднократно подчеркивает в своих трудах, настаивая на том, что для социального организма не имеет значения, как реализуется подражание, как происходит «принятие» — добровольно или нет [Тард, 1892, 198].

4.5. В своих суждениях, преимущественно в обосновании и иллюстрации теоретических положений, Ж. Тард часто обращается к языку как одному из социальных институтов, в котором наиболее наглядно проявляются открытые им общесоциологические закономерности. Не случайно он подчеркивает, что его «...взгляд на социологию с особой легкостью применяется к объяснению языка, его образования, его превращений» [Тард, 1901, 249].

Язык у Тарда, подобно Э. Дюркгейму, оказывается в одном ряду со всеми социальными институтами (срв. «...любое новшество в социальном явлении любого типа — в языке, религии, политике...»), но при этом, естественно, в силу иного понимания сущности «социального факта» отличается другими признаками.

Язык, точнее, уже состоявшийся, «изобретенный» и функционирующий язык, по своей природе «подражателен, представляет собой явление подражания», ему присущ «чрезвычайно подражательный характер» [Тард, 1901, 250].

Будучи социальным явлением подражательной природы, язык все-таки отличается от других социальных установлений тем, что обслуживает их: «Язык, — пишет Тард, — служит самым важным проводником всех подражаний, все социальные институты — мода, нравы, обычаи... распространяются и утверждаются посредством языка» [Тард, 1892, 14].

С другой стороны, язык является и «изобретением»: «Язык, т. е. слово было изобретено одним гениальным варваром, а объектом подражания стала сама возможность изобретения слов» [Тард, 1892, 251]. Тард, очевидно, упускает из виду изначальную социально-коммуникативную сущность впервые «изобретенного слова», которое, в отличие от других социальных фактов, не требовало длительного процесса социализации. «Слово» как средство коммуникации с самого начала предполагает наличие хотя бы одного слушателя, а постольку уже «социально». Это обстоятельство не учитывали социологи, недооценивал его и Соссюр, хотя «признание социальности ре-

чи... увязывается с учетом роли не только говорящего, как это было у Соссюра, но и слушателя» [Шарадзенидзе, 1971, 21].

Однако для нас в данном случае важно подчеркнуть, что Тард не отрывает друг от друга «изобретение» и «подражание», что язык одновременно и в равной мере входит и в сферу «изобретения», и в сферу «подражания». Здесь, как и в прочих социальных институтах, «изобретение» одновременно является и «подражанием». «Первый римлянин, который по принципу *italikus* произнес *germanikus*, был подражателем в своем изобретении» [Тард, 1882, 147]. Отличие языка в этом плане заключается в том, что «именно в языке изобретение и подражание наиболее близки» [Тард, 1901, 258].

Как можно видеть, достаточно сложно поставить в сколько-нибудь однозначное соответствие основные для Тарда понятия «изобретения» и «подражания», с одной стороны, и «язык» и «речь» Соссюра — с другой. И это вполне логично объясняется принципиальными различиями в понимании самой структуры «социального факта». В первую очередь, Тард не противопоставляет «социальное» и «индивидуальное» в рамках какого-либо единого феномена. Сам «социальный факт» в его концепции представляет собой органичное единство, порожденное в результате взаимодействия «изобретения»\* и «подражания». И если Тард все-таки различает эти явления, противопоставляет их, то не как «социальное» — «индивидуальному», а как отдельный индивидуальный акт — массе повторяющихся индивидуальных актов подражания и, в конечном счете, принятия, что только и приводит к становлению собственно «социального факта».

Если попытаться и взять за основу столь существенный для Соссюра признак «социального факта», как его заданность, или задаваемость воспринимающей, усваивающей и подчиняющейся ему массе, то слабым аналогом «языка» можно, как будто, признать «изобретение». Ведь именно «изобретению» подражает масса, именно его она принимает. «Подражание» в таком случае, естественно, придется закрепить за сферой «речи». Но само «изобретение» у Тарда остается фактом индивидуальным, а главное — несистемным, не подчиняющимся «законам» и зависимым от «подражания». Будучи результатом интеллектуальной деятельности гениальных личностей, «изобретение» не подвержено действию каких-либо обязательных законов, хотя и испытывает регулирующее влияние подражаний (в чем, кстати, проявляется непоследовательность дефиниций Тарда).

С другой стороны, аналог «речи», как было сказано, можно усмотреть в массе индивидуальных актов подражания. Но мы видели, что подражание у Тарда носит системный и целенаправленный характер (срв. «...законам подчиняется подражание...»), более того, именно многочисленные акты подра-

жания несут в себе социообразующую функцию. Тогда как «речь» у Соссюра остается «индивидуальным актом воли и понимания», реализация языка, «исполнение» представляется Соссюру всецело индивидуальным. Речь — это только лишь «сумма всего того, что говорят люди», «в речи ничего нет коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны» [Соссюр, 1977, 57]. В интерпретации Соссюра отстывает на задний план тот факт, что индивидуальные акты речи осуществляются в рамках системы языка, тогда как Ж. Тард подчеркивал, что социальный факт реализуется во всех единичных, индивидуальных актах, не существует «без всех своих индивидуальных проявлений».

Таким образом, приняв положения Тарда и творчески переработав их, Соссюр должен был распространить критерии системности и социальности на оба выделяемых им объекта, но «речь» у него остается «несистемной» и «несоциальной».

4.5 Наибольшую близость с социологическим учением о подражании и принятии обнаруживает трактовка «одного из основных явлений речи» — аналогии, которая, будучи зависимой от «языка», тем не менее «принадлежит исключительно сфере речи» [Соссюр, 1977, 199].

Именно этот момент подчеркивает Э. Косериу, рассматривая основные положения Соссюра, по сути дела, с позиций социологии Тарда: «Соссюр ясно понимает взаимозависимость языка и речи, по крайней мере в одном отрывке «Курса» — в главе об аналогии он приближается к пониманию языкового изменения как создания языка» [Косериу, 1963, 312].

Действительно, аналогия, согласно Соссюру, которая в отличие от фонетических изменений ничего не меняет, но порождает новообразование, оставляя в языке конкурирующую форму, «предполагает **образец и регулярное подражание ему** (подчеркнуто нами. — К. Л.). Аналогическая форма — это форма, образованная по образцу одной или нескольких других форм согласно определенному правилу» [Соссюр, 1977, 195]. Таким образом, аналогия как будто предстает как один из ярких социальных феноменов подражания. Однако усматривать здесь какое-либо прямое влияние учения Тарда или даже синтез идей Дюркгейма и Тарда вряд ли правомерно. В данном случае скорее можно предполагать роль лингвистики XIX в. в становлении социологии Тарда. Выше мы уже говорили, что Тард признавал значение лингвистической аналогии (которая, по замечанию Соссюра, «занимает преобладающее положение в теории языковой эволюции» [Соссюр, 1977, 204]) в обосновании законов подражания. Здесь же отметим только, что лингвистические законы, сводимые им, фактически, к законам аналогии («...лингвистические законы можно установить посредством аналогии» [Тард, 1892, 147]), Тард считал

одним из основных типов действующих в социуме законов «подражания».

Однако аналогия в интерпретации Соссюра обнаруживает не только черты «подражания», но и характерные особенности «изобретения», ибо «аналогия есть случайное творчество отдельных людей» [Соссюр, 1977, 199]. Признавая, с одной стороны, что «аналогическая форма» образуется «согласно определенному правилу», а с другой — является «случайным творчеством отдельных людей», Соссюр еще раз возвращается к проблеме соотношения «социального», «системного», «языкового» и «индивидуального», «несоциального», «несистемного» в человеческой речи.

«Тард, — отмечает Н. А. Слюсарева, — не отрицает индивидуальные особенности языка, как это делал и Соссюр» [Слюсарева, 1975, 108].

Но системность, социальность относимых к «речи» явлений, в том числе «индивидуального творчества» аналогии, не находит у Соссюра должного объяснения. «Индивидуальное, — подчеркивает Т. С. Шарадзенидзе, — ...не находится в конфликте с социальным. Первое основывается на втором... является общим и допустимым для всех членов этого коллектива» [Шарадзенидзе, 1971, 42]. Для Соссюра же индивидуальное творчество, создание новообразований по аналогии остается скорее спорадическим и несистемным. Если Тард квалифицировал лингвистические законы как множество частных правил со многими исключениями [Тард, 1892, 147], то это все-таки были «исключения из правил». По Соссюру же, напротив, сами «правильные» инновации оказываются исключением из общей массы несистемных изменений, ибо «не все инновации речи венчаются... успехом» [Соссюр, 1977, 130]. вхождения в «язык». Более того, Соссюр подчеркивает несистемность изменений вообще: «...диахронические события всегда в действительности носят случайный и частный характер» [Соссюр, 1977, 126].

В наших целях более существенным следует признать тот факт, что Соссюр остается в русле общих для лингвистики и социологии XIX в. представлений о механизме распространения (принятия) инноваций (изобретений).

Каждая инновация в социальной жизни, предстающая в виде «изобретения гениального индивида», согласно Тарду, проходит путь социализации посредством многочисленных актов «подражания» и завершается «принятием»: «Повторение, — пишет Тард, — ...необходимо для изменения и вытекает из вновь введенного новшества» [Тард, 1892, 6—7]. В этом, в частности, обнаруживается взаимозависимость «изобретения» и «подражания», зависимость социального факта от индивидуального, поскольку «социальный факт» невозможен вне

«индивидуальных проявлений». Тард ничего не говорит о числе повторений, достаточном и необходимом для социализации изобретения, для его «принятия». Социология Тарда, очевидно, не предполагает и какой-либо релевантной с этой точки зрения стратификации социума, в одной из подгрупп которого можно было бы постулировать возникновение «изобретения», «принимаемого» впоследствии другими группами... Путь «социализации» обрисовывается в самых общих чертах.

Аналогичную интерпретацию распространения языковой инновации предлагает, в частности, Э. Косериу. В разрабатываемых им принципах языкового изменения, продолжающих традиции, говоря словами Соссюра, «теории языковой эволюции», вместе с тем явственно чувствуется влияние учения Тарда, хотя имя французского социолога прямо и не называется. Рассматривая соссюрское понимание соотношения «социального» и «индивидуального» в человеческой речи, Косериу замечает: для того, чтобы доказать ошибочность соответствующих положений Соссюра, «не нужно дюркгеймовскому пониманию «социального факта» противопоставлять другое понимание...» [Косериу, 1963, 159]. Тем не менее, сам процесс языкового изменения, по Косериу, содержит два основных момента — **инновацию** и **принятие**: «Изменение языка осуществляется в диалоге... все, чем сказанное отличается от существующих в языке моделей... может быть названо инновацией. Допущение слушателем инновации как нового высказывания можно назвать принятием» [Косериу, 1963, 191]. Таким образом «принятие», которое ниже Косериу признает «становлением факта языка», в данном случае может быть даже единичным (?!). Тард, как было сказано, этого вопроса не рассматривает, хотя параллель с «изобретением» и «подражанием» очевидна.

Опираясь на Ж. Тарда, Э. Косериу стремится преодолеть представление о сугубо индивидуальном характере инновации, опять-таки привлекая для этого тардовское понятие целенаправленности последующего выбора: «Дело не в том, чтобы противопоставить одного социолога другому, поскольку принятие не есть акт механической иммитации, а акт сознательного выбора» [Косериу, 1963, 194]. Свершенно в духе Тарда Э. Косериу трактует и процесс «подражания-принятия»: «Языковое изменение представляет собой распространение инновации или обобщение... Каждое изменение — это прежде всего принятие...

...инновация... (есть)... «факт речи»... принятие же представляет собой становление «факта языка» [Косериу, 1963, 192—193].

Таким образом, в лингвистике (как и в общей социологии XIX в.) в отношении языковой инновации предполагался чисто количественный, вернее, неопределенно-численный критерий

социализации. При этом остается совершенно неясным, какое число носителей должно «принять» «факт речи», чтобы он стал «фактом языка». Установить какое-либо пороговое численное значение «принимающего» коллектива не удастся. Проблема «социализации» языковой инновации, очевидно, не имеет количественного решения.

Выше мы уже говорили, что одну из точек соприкосновения общелингвистической концепции Соссюра с социологическим учением Тарда некоторые исследователи прослеживают именно в «лингвистике речи».

Более правомерно, с нашей точки зрения, было бы утверждать, что, обращаясь к проблемам диахронической лингвистики, в частности, к вопросу распространения инноваций речи, Соссюр остается в рамках механизма, предлагавшегося традиционным языкознанием (идеи которого нашли отражение и в социологической теории): «Именно в речи, — отмечает Соссюр, — источник всех изменений, каждое из них, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым числом говорящих» [Соссюр, 1977, 130]. Такие понятия, как «некоторое число говорящих» и «общее употребление», очевидно, весьма неопределенны. Но как конкретно последующие индивидуальные инновации входят в системный, социальный язык? Соссюр вынужден довольствоваться, в сущности, традиционным толкованием: «...в истории любой инновации мы отмечаем два момента: 1. Момент появления ее у отдельных лиц и 2. Момент превращения ее в факт языка, когда она... принимается всем языковым коллективом» [Соссюр, 1977, 131]. Однако Соссюр, как известно, понимает под изменением более сложный, более интимный языковой процесс, нежели просто изменение фонетического облика слова или его значения. Истинное изменение, по Соссюру, — это «сдвиг в отношении между означающим и означаемым» [Соссюр, 1977, 108]. Допустить такую глубинную перестройку в каждом конкретном, индивидуальном акте речи он не может, поэтому основная масса инновации для него остается индивидуальной, а системность каждой инновации не получает должного признания и обоснования. «Отдельные лица по аналогии с формой *waɪn* создали *waɪ* — это был факт речи; такая форма, часто повторявшаяся, была принята коллективом и стала фактом языка. Но не все инновации речи увенчиваются таким успехом... они остаются индивидуальными... попадают в поле нашего зрения лишь с момента принятия их коллективом» [Соссюр, 1977, 130].

Таким образом, «социальность» увязывается с принятием инновации «коллективом», или «всем языковым коллективом». Никаких промежуточных ступеней между «индивидуальной» инновацией и «социальным» «фактом языка» не предполагается.

Недостаточность современных Соссюру представлений о релевантных с лингвистической точки зрения подструктурах общества и социо-коммуникативной стратификации речи объективно не давала ему достаточных критериев системности и социальности порождаемых инноваций и всей речи в целом.

\* \* \*

Суммируя кратко наблюдения над взаимоотношением между концепцией Соссюра и современными ему социологическими учениями Э. Дюркгейма и Ж. Тарда с точки зрения роли и места Соссюра в интерпретации социальной природы языка, можно сказать следующее:

1. Ф. де Соссюр, преодолевая господствовавшее в социологии представление, подчеркивает существенные отличия языка от социальных установлений любого иного рода и тем самым приближается к пониманию того, что язык является социальным феноменом особого типа.

2. Лингвистическое учение о социальном «языке» можно квалифицировать как **признание общей социальной природы человеческого языка**, как первую детерминацию, результатом которой явилось вычленение из стохастического континуума человеческой речи некоторого системного, социального ядра. При этом столь же существенные параметры (системность, социальность) другого компонента человеческой речи — собственно «речи» были, по крайней мере — теоретически, утрачены.

3. Признание социальности «речи», а главное — обнаружение причин и условий конкретного проявления социальной природы языка оставалось задачей будущего. Одной из характерных черт послессоссюровского языкознания признается «выдвижение речи на первое место...» [Шарадзенидзе, 1971, 25]. Но понимание общей социальности речи и первые попытки описания условий ее конкретных проявлений были предприняты уже во время Соссюра и даже, частично, до него, в рамках французской лингвистической традиции.

## ГЛАВА III

### «СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» ЯЗЫКОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ

#### § 1. Лингвистическая традиция и социологическая теория в общезыковедческой концепции А. Мейе

1.1. Признание общей социальной природы языка в качестве основного теоретического постулата языковедческих штудий является одной из важнейших отличительных черт французской лингвистической традиции. Понимание органичной социальности языка как «обязательной основы имманентного построения лингвистики» [Рамишвили, 1978, 77] сближает французский лингвистический социологизм с концепцией Ф. де Соссюра. Однако интерпретация социальной сущности языка, преимущественно, его отношения к другим социальным установлениям, а главное — трактовка вытекающих отсюда задач лингвистики препятствует встречающемуся иногда в специальной литературе их объединению в рамках одной школы. Французскому социологизму характерно заострение внимания на зависимости истории языка, его эволюции и синхронной дифференцированности от истории и стратификации социума. Если Соссюр концентрируется на общей социальной природе языка, то во французской лингвистике закладываются основы перехода к исследованию конкретных проявлений социальности языка.

Последовательное выражение взгляды этого направления нашли в теоретических положениях и, частично, лингвистической практике А. Мейе — одного из самых ярких носителей названной традиции. Роль и место общетеоретических положений А. Мейе в истории изучения социальной природы языка обуславливаются в значительной мере синтезом традиционных представлений о связи языка с обществом, о роли человека и социума в целом в функционировании и развитии языка с методологическими установками конкретной социологической теории. Приверженность традиции сближает его с французскими просветителями, а позже — лингвистами старшего поколения, в то время как созвучное эпохе обращение к социальной теории, создававшее определенную основу для дальнейших исследований социальной природы языка, объединяет его с дру-

гими представителями социологической школы (А. Доза, Ш. Балли, Ж. Вандриес, при всех различиях между ними). Как заметил А. Мейе в одной из своих многочисленных рецензий в «*Année Sociologique*» [т. XI за 1907 г., с. 790], «лингвисты касались проблем социальной природы языка лишь случайно», тогда как появление социальной теории дает возможность систематического исследования [Петерсон, 1927, 5]. Если до А. Мейе строго можно было бы говорить лишь о социологической традиции французского языкознания, то теперь возникает школа, а Мейе предстает как глава этой школы.

По мере четко прослеживаемого в лингвистике второй половины XX в. возрастания интереса к проблематике социального порядка все больше проясняется роль европейской традиции (игнорировавшейся, например, в «новой» американской социолингвистике). С этой точки зрения особого внимания заслуживает значение французского социологизма и в первую очередь — теоретических положений и методологических требований А. Мейе (предвосхитивших и заблуждения вульгарного социологизма, и обоснованное направление исследований) как одного из предшественников современной социолингвистики.

В советской литературе по истории лингвистики неоднократно и вполне правомерно подчеркивается, что одним из основных отличий русской лингвистической традиции от немецкого младограмматизма является внимание к социальным факторам эволюции языка [см., напр., Амирова, Ольховиков, Рождественский, 1975; Березин, 1976]. Показывая приоритет и достижения русской и советской лингвистической мысли в постановке и разработке ряда фундаментальных вопросов взаимоотношения языка и общества, В. К. Журавлев вместе с тем вполне справедливо отмечает особое место французской лингвистической традиции в истории социального подхода к языку: «Как бы в противовес биологизму и психологизму немецкой лингвистики... здесь (во Франции. — К. Л.) выдвигается социологизм, подчеркивается социальная сущность языка, по инициативе А. Мейе складывается так называемое социологическое направление в языкознании» [Журавлев, 1981, 262—263].

Глубокую гносеологическую связь французского лингвистического социологизма с гуманистическими традициями французского просветительства убедительно прослеживает Н. А. Слюсарева. Французские лингвисты разных поколений само возникновение, функционирование и изменение языка объясняли его зависимостью от общества и стремились изучать язык, исходя из роли человека в жизни языка, или, по крайней мере, учитывая эту роль. Идея социальности языка как средства общения развивалась еще в трудах французских мыслителей XVIII века: «...исток связи лингвистики с социологией следует искать в европейской традиции, точнее — во

Франции, бурная политическая жизнь которой начиная с последних десятилетий XVIII в. способствовала развитию интересов к социальным проблемам» [Слюсарева, 1981, 56—57].

Как инициатор и глава социологического направления А. Мейе предстает перед нами как бы наследником и продолжателем французской общественной мысли, объединившим в своем научном творчестве традиционные для французской лингвистики представления о связи языковых процессов с социальными, с одной стороны, и теоретико-социологические положения XIX века о структуре и природе общества — с другой.

Вместе с тем, рассматривая социологическую (социолингвистическую?) концепцию А. Мейе в этом плане и в сопоставлении с Ф. де Соссюром, нельзя не признать, что **А. Мейе воспринял господствующие социологические теории своего времени** (в частности, учение Э. Дюркгейма), как будет показано ниже, **не только независимо от Соссюра, но и иначе чем он.**

Действительно, дюркгеймовская интерпретация надличностной императивности социального феномена привела Соссюра к примату социального, рассматриваемого в синхронии «языка» и принижению системности и социальности изменений речи. Социологизм Дюркгейма, как мы говорили выше, по сути дела не предполагает изменений в обществе, что находит определенный отклик в интерпретации «языка» Соссюром. По справедливому замечанию В. А. Абаева, «общество» Соссюра... призвано объяснить неизменяемость языковых норм» [Абаев, 1933, 6].

А. Мейе, исходя из того же (дюркгеймовского) понимания социального факта и, соответственно, природы языка как социального феномена, опираясь по существу на те же общесоциологические положения Э. Дюркгейма, приходит к необходимости выяснения социальной мотивации, социальных условий языковой вариативности как в диахронии (преимущественно), так и в синхронии. Таким образом, **социальность языка, в отличие от Соссюра и Дюркгейма, в интерпретации А. Мейе оказывается основой изменения**, что, в значительной мере, объясняется влиянием лингвистической традиции.

1.2. Сколько-нибудь детальный анализ философско-гносеологических и исследовательских принципов французской лингвистики до А. Мейе и после него, даже в той части, что касается понимания социальной природы языка, естественно, ни в коей мере не входит в задачу предлагаемой работы. Вопросы преемственности французской лингвистической мысли на широком историческом фоне трактуются, например, в двух, как бы продолжающих одна другую фундаментальных монографиях Ж. Мунена [Mounin, 1967; его же 1972]. В частности, автор оценивает место А. Мейе в истории французской лингвистики и подчеркивает приверженность традиции, сыгравшей

заметную роль в формировании его общетеоретических воззрений. Особенности и значение изучения социальной природы языка во французской лингвистике глубоко освещаются в цитированных выше работах Н. А. Слюсаревой. В наших целях достаточно лишь показать, что в статьях А. Мейе нашли более четкое, завершенное выражение идеи, которые отстаивали французские лингвисты в противовес другим европейским лингвистическим традициям. Для этого следует коротко охарактеризовать некоторые положения непосредственного предшественника и учителя Антуана Мейе, одного из видных представителей старшего поколения французских лингвистов — Мишеля Бреалья.

Одной из характерных особенностей общелингвистических взглядов М. Бреалья является признание ориентированности языка и, соответственно, всей лингвистики на человека. **Межличностную сущность** языка, порожденного человеком и **адресованного человеку**, М. Бреаль подчеркивал еще в лекциях в *College de France*, где он читал курс сравнительной грамматики до А. Мейе. В положениях М. Бреалья привлекает внимание общая направленность против сугубо индивидуалистической трактовки языка, согласно которой «язык не есть вещь, стоящая вне людей и над ними и существующая для себя; он **по-настоящему существует только в индивидууме**, тем самым все изменения в жизни языка могут исходить только от говорящих индивидов» [Остгоф, Бругман, 1956, 147 — 148]. М. Бреаль признает, что язык «представляет собой человеческий акт и нереален вне деятельности человека» [Breal, 1924, 309]. Однако сам носитель языка прежде всего выступает как член социума, которому и принадлежит язык. М. Бреаль неизменно отмечает, что «говорящий» является членом определенного языкового коллектива и использует язык для связи с другими членами того же коллектива, учитывает языковую компетенцию слушающих и имеет в виду достижение понимания. «... человек, — пишет М. Бреаль, — конечно, не может менять язык — отдельные слова и грамматические формы, но в речи он отбрасывает все лишнее, и нельзя забывать объект (т. е. адресат. — К. Л.), для которого создано выражение» [Breal, 1877, 238].

В этом кратком, но весьма емком положении М. Бреалья привлекают внимание сразу несколько взаимосвязанных моментов.

Так, он, очевидно, не склонен к надличностной и, в конечном счете, к надсоциальной интерпретации языка. Но вместе с тем М. Бреаль избегает и крайностей индивидуального объяснения сущности языка. С одной стороны, «человек не может менять язык», но носитель не остается и совершенно пассивным по отношению к языку. Бреаль допускает индивидуальные инновации. Однако в коммуникативной функции, в общении,

понимаемом как один из аспектов социальной сущности и активности человека, он видит фактор стабильности, преемственности: «...родной язык передается из поколения в поколение и остается тем же языком, поскольку его сохранение стимулируется необходимостью понимания», а индивидуальные инновации подвергаются ограничительной санкции социума—отклонения вызывают отрицательную реакцию... «насмешку» слушателя [Breal, 1924, 247]. Ориентированность языка на человека для Бреалья оказывается основным условием его социальной, поскольку сам человек прежде всего предстает как член социума. Как подчеркивает Н. А. Слюсарева, Бреаль «стремился объяснить языковые факты историей народа и всегда подчеркивал, что все в языке обращено к человеку, следовательно — социально» [Слюсарева, 1974<sup>2</sup>, 71].

Важным признаком социальной языка служит его «диалогичность», поскольку «нельзя забывать объект, для которого создано выражение». Уже здесь заложена идея, получившая дальнейшее развитие в лингвистике. Эксплицитно выдвинутое Бреалем требование о необходимости учитывать роль слушающего позже становится одним из основных постулатов для таких, например, считающихся учениками Соссюра лингвистов, как А. Гардинер и А. Сеше. В частности, А. Гардинер обязательным компонентом соссюрской схемы круговорота речи признает слушателя [Gardiner, 1963, 63].

Носитель языка не пассивен по отношению к нему, и хотя человек не может изменить язык, он все-таки наделен способностью, руководствуясь необходимостью взаимопонимания, «в речи отметить все лишнее». Правда, М. Бреаль еще не ставит в полной мере проблемы соотношения системы и инновации, не рассматривает вопросов творчества, протекающего в рамках и с использованием потенциальных возможностей системы языка, не видит он и конкретного социального механизма зарождения и распространения инновации. Однако ему уже присуще стремление вскрыть социальную сущность, общую социальную обусловленность конкретных языковых фактов и явлений, «социальными отношениями людей и целых народов М. Бреаль объяснял пополнение и семантическое изменение языка» [Слюсарева, 1974<sup>2</sup>, 73].

Из признания роли социума в формировании и функционировании языка вытекает понимание статуса и задач лингвистики как науки. В центре описания языка, подчеркивает М. Бреаль, должен стоять говорящий и слушающий человек — «...задачи описания языка не должны вынуждать нас забывать человека» [Breal, 1877, 240]. Это существенное для Бреалья требование, выдвинутое в лекциях, вошло затем в специальную статью, опубликованную в сборнике работ автора по мифологии и лингвистике, и было повторено еще раз в связи с проблемой устойчивости и изменяемости языка.

Последовательное изложение основ социального подхода к решению вопросов изменения языка, в частности, к описанию лексико-семантических процессов содержится в наиболее известном фундаментальном труде М. Бреалья «Основы семантики». Оценивая взгляды М. Бреалья, его преемник ио кафедре А. Мейе говорит о Бреале как зачинателе социального подхода к языку, хотя последний, по словам Мейе, и не выражал это эксплицитно. М. Бреаль «ввел новую, социальную по характеру науку — семантику, обновил старую проблему, задал тон дальнейшим исследованиям в этой области...» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 1].

Сам Бреаль в предисловии к монографии подчеркнул, что видит задачу в том, чтобы охарактеризовать новую науку, которую можно назвать семантикой (Breal, 1924, 8), а в заключении логично обращается к вопросу социального характера всей лингвистики в целом, поскольку семантика как один из разделов науки о языке представляется ему наукой социальной. Статусу лингвистики посвящена также специальная глава монографии (*La linguistique: est-elle une Science naturelle*), в которой опровергается мнение о естественнонаучном характере лингвистики.

Признание социальной природы языка у М. Бреалья не предполагает превращения лингвистики в раздел социологии или какой-либо иной общественной науки. **Социальность языка служит критерием отграничения от естественных наук и своего рода гарантией автономности лингвистики как отрасли знания.**

Вместе с тем нельзя не отметить, что, отграничивая языкознание от естественных наук, М. Бреаль еще не видит специфики языка как общественного явления, отличающей его от всех других феноменов этого порядка. Необходимость понимания и ограничительную функцию социума, то есть основные, с его точки зрения, законы языка М. Бреаль считает «законами того же типа, что и другие законы, регулирующие общественную жизнь» [Breal, 1924, 48].

Признание уникальности языка как социального явления остается, несомненно, самостоятельной заслугой Соссюра.

Основное же, наиболее общее требование Бреалья — вскрыть социальную обусловленность фактов языка — нашло дальнейшее развитие в концепции А. Мейе, однако уже на несколько иных теоретических началах.

## **§ 2. Социальная природа языка и «социологичность» лингвистики в интерпретации А. Мейе**

2.1. Лингвистическая интерпретация дюркгеймовского понимания социального факта наиболее полно изложена в двух теоре-

тических статьях А. Мейе—*Etudes de la Linguistique générale* и *Comment les mots shangent des sens*.

Первая из них была опубликована еще в 1898 г. (а затем, в 1906 г. была повторена как вступительная лекция к курсу сравнительной грамматики) в журнале Э. Дюркгейма, в период интенсивного сотрудничества с известным социологом и за восемь лет до того, как Соссюр прочел первый цикл лекций по общему языкознанию в Женеве. Вторая статья впервые опубликована в X томе «*Aneé Sociologique*» за 1905—1906 гг. Известно, что в сферу интересов Дюркгейма входили не только общесоциологические проблемы, но и ряд специальных отраслей социологического исследования. В частности, он разрабатывал вопросы социологии религии, права, познания и т. д. [Фотев, 1979, 257]. Стремясь охватить в рамках глобальной социальной теории все сферы общественной жизни, Дюркгейм привлекал к исследованиям представителей различных отраслей знания, которые, естественно, должны были изучать объекты своих наук с разрабатываемых Дюркгеймом общеметодологических позиций. Из числа лингвистов к этой работе был привлечен А. Мейе [Гофман, 1974, 12], который уже с 1902 г., начиная с пятого номера вел в журнале Дюркгейма раздел, посвященный проблемам языка [Петерсон, 1923, 10]. А. Мейе полностью принимает дюркгеймовскую дефиницию социального феномена и распространяет ее на язык, понимаемый как социальное явление общего порядка, что, как мы говорим выше, находится в русле всей социологии XIX—начала XX вв.

Как замечает М. Н. Петерсон, в исследовании социальной природы языка «...со стороны теоретической лингвистики Мейе нашел вполне подготовленную почву. Ему надо было найти базу и в социологии, и такой базой он выбрал социологическую систему Дюркгейма» [Петерсон, 1923, 9].

Однако социология Дюркгейма, как было показано, построена на противопоставлении социального и индивидуального, а в применении к языку объективно относится к той философской традиции, которая отрывала язык от человека (об этом см. ниже) и против которой выступили в свое время французские просветители XVIII в.. Будучи преемником французской лингвистической традиции, А. Мейе выдвигает существенные положения и исследовательские требования, которые никак не вытекают ни из учения Э. Дюркгейма, ни из понимания языка как «вещи, стоящей вне людей и над ними и существующей для себя» (Остгоф, Бругман), и могут быть объяснены лишь на основе названной традиции.

Вместе с тем, обращаясь, хотя бы теоретически, к социологии Дюркгейма как методологической базе, А. Мейе, естественно, стремится приравнять язык к прочим социальным фе-

номенам: «Примыкая к социологической системе Дюркгейма, Мейе должен был показать, что в языке есть те признаки, которые Дюркгейм считает необходимыми для социального явления» [Петерсон, 1923, 10].

И действительно, влияние социологического учения Э. Дюркгейма наиболее ощутимо в двух постулатах А. Мейе:

1. Язык объявляется социальным феноменом в духе Дюркгейма... и отсюда вытекает

2. Признание лингвистики «частью социологии».

2.2. «Речь есть факт исключительно социальный и... точно соответствует определению Дюркгейма» [Meillet, 1926<sup>2</sup>, 230], — прямо указывает А. Мейе, усматривая социальность рассматриваемого с позиций социологии языка в его императивности, независимости от носителей и внешнем характере по отношению к каждому из говорящих: «Любой язык существует независимо от отдельных личностей, которые на нем говорят, и хотя он не имеет реальности вне суммы говорящих, он тем не менее по своей всеобщности является чем-то внешним по отношению к каждому из них... Ни один из носителей языка не может изменить его, и всякое отклонение от нормы вызывает соответствующее противодействие. **Внешний и принудительный характер по отношению к личности, которым Дюркгейм определяет всякое социальное явление, проявляется, следовательно, в речи с предельной очевидностью**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Meillet, 1926<sup>2</sup>, 231].

Как можно видеть, А. Мейе стремится по возможности точнее придерживаться дефиниций Э. Дюркгейма. По крайней мере, в этом пространном суждении о языке присутствуют специфичные выделяемые и выдвигаемые Дюркгеймом на первый план признаки социального института — его «внешний и принудительный характер», а само определение Дюркгейма признается в наибольшей мере приложимым к языку. И все-таки уже здесь можно заметить некоторые отличия. Императивно задаваемый социальный институт Дюркгейма не предполагает каких-либо изменений или отклонений. Всевозможные девиации как бы остаются за рамками формирования социального феномена. Мейе же допускает «отклонения от нормы», и, хотя такие отклонения «вызывают противодействие», сама возможность отклонений снимает или снижает императивность. Как следует из других высказываний А. Мейе, отклонения порождаются носителями языка, и «сопротивляются» им также носители языка. Иными словами, язык как одна из ипостасей социального феномена оказывается не столь уж независимым от своих конкретных проявлений, хотя А. Мейе и утверждает, что «язык существует независимо от отдельных личностей».

С другой стороны, «социальный феномен» Дюркгейма независим и внешен не только по отношению к отдельному человеку, но и ко всей массе, составляющей социум. А. Мейе же подчеркивает независимость языка от отдельных личностей, но не от социума в целом.

2.3 Принимая дефиницию Дюркгейма, А. Мейе все-таки не следует ей буквально. В определении природы языка он стремится избежать не только его сугубо индивидуалистической, но и наиндивидуальной, а в конечном счете и надсоциальной трактовки: «Язык есть в высшей степени социальный факт... он не существует вне говорящих на нем лиц, а постольку у нас нет оснований приписывать ему автономное существование» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16]. Язык неавтономен, потому что «не существует вне говорящих», но это не значит, что он «настоящему существует только в индивидууме». Вместе с тем А. Мейе — лингвист видит и специфику языка как социального феномена, заключающуюся в его строгой системности. Эти наблюдения, выводящие по существу язык из-под дюркгеймовской характеристики социального факта, А. Мейе суммирует в положениях, обосновывающих двойную реальность языка.

Как объект лингвистики язык обладает «лингвистической реальностью», поскольку «представляет собой сложную систему средств выражения, где все связано друг с другом и в которой индивидуальное новообразование только с трудом может найти себе место» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16].

Вместе с тем язык характеризуется «социальной реальностью», ибо «принадлежит определенной совокупности говорящих, является средством общения между членами данной группы, и потому... его изменение не зависит ни от одного из членов группы» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16].

В таком понимании социальности по сути дела не остается места для непреложной, не зависящий от носителей императивности «социального факта», императивность, продиктованная коммуникативной функцией языка, по Мейе, скорее носит осознанный, необходимый характер. «Каковы бы ни были различия между говорящими, язык един там, где индивидуумы, понимая друг друга, имеют, сознательно или бессознательно, чувство и волю принадлежность к одной и той же лингвистической группе» [Meillet, 1911, 80]. (Как пишет А. Мейе в одной из работ, «...в определенную эпоху существовал один язык, на котором говорил народ, **сознающий свое единство**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Мейе, 1951, 6]. «Лингвистическая» и «социальная» реальности языка и обуславливают его преемственность, и допускают изменения. В системном языке «новое индивидуальное явление» возможно, хотя оно и с трудом прокладывает себе путь... если не соответствует общим правилам языка» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16—17].

Общая социальность языка проявляется в первую очередь в том, что «изменение не зависит ни от одного из членов группы... Необходимость быть понятым вынуждает каждого члена группы сохранять идентичные языковые навыки. Индивидуальные отклонения вызывают насмешку — это незамедлительная санкция общества» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 17]. Необходимость понимания и ограничительную функцию общества как фактор сохранения языка подчеркивал еще М. Бреаль. Таким образом, **отклоняясь от ортодоксально дюркгеймовского понимания социального факта, А. Мейе следует французской лингвистической традиции и признает роль социума в функционировании и изменении языка.** Влияние же социологического учения Дюркгейма сводится главным образом к общей дефиниции языка как социального установления. Как подчеркивает Ж. Мунен, «социологическая ориентация Мейе возникла на основе идей М. Бреаля, т. е. раньше его контактов с Дюркгеймом, который лишь придал его мысли наиболее формальный теоретический характер» [Mounin, 1972, 62].

2.4. Однако даже чисто теоретическое признание языка «фактом исключительно социальным» и «соответствующим определению Дюркгейма» ведет А. Мейе к обобщению более высокого порядка — к признанию всей общей лингвистики «частью социологии».

Предметом лингвистики, по А. Мейе, является «язык как средство общения между членами определенной группы, т. е. как социальное явление. **Лингвистика составляет часть социологии**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Meillet, 1911, 256]. Социальность объекта, естественно, предопределяет и характер изучающей его науки: «...из того факта, что язык есть социальная данность, вытекает, что языкознание есть социальная наука» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16]. Как мы видели, М. Бреаль подчеркивал социальный, вернее было бы сказать, общественный характер науки о языке для того, чтобы показать отличие от естественнонаучных дисциплин и таким образом обосновать ее самостоятельный научный статус. И с этой точки зрения «положение о том, что языкознание наука социальная, правильно» [Чикобава, 1983, 117]. Мейе объявляет лингвистику «частью социологии», конечно, понимаемой широко. При этом А. Мейе стремится осмыслить социальность языка и языкознания на фоне исторического развития общественно-научной мысли и в соответствии с современными ему приоритетными тенденциями социологии: «Девятнадцатый век, — пишет А. Мейе, — был веком истории... социальные науки только формируются, и языкознание должно занять здесь место, соответствующее его природе. Наступило время, когда необходимо определить место языковедческой проблематики с социальной точки зрения» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 18]. Однако А. Мейе прежде всего был пред-

ставителем исторического языкознания, и «социологичность» его несколько иного толка — «социологичность» Мейе-лингвиста исторична. Сама социальность объекта является у него предпосылкой историчности: «Как каждый социальный институт... речь человека... зависит от бесчисленного множества фактов прошлого... языковедение, стало быть, как другие социальные науки, есть наука историческая» [Meillet, 1911, 256]. Зависимость социального феномена от множества фактов истории составляет одну из особенностей социологизма А. Мейе, также отличающую его от учения Дюркгейма.

### § 3. А. Мейе о задачах лингвистики

Признавая социальную природу языка и принимая дефиницию Дюркгейма, А. Мейе тем не менее понимает ее иначе. Отсюда вытекает и интерпретация задач общей лингвистики, призванной, по утверждению А. Мейе, изучать социальные причины языкового изменения и учитывать при этом социальную стратификацию языка.

Фонетические законы, аналогия и замещения, указывает А. Мейе, не способны объяснить истинных причин языкового изменения. Они констатируют «всегда частные факты, дают лишь выводы частного характера... и не создают системы...» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 7]. Предмет исторического изучения языка составляют «общие законы... которые выходят за рамки одного языка и в равной мере касаются всех языков...». Мейе подчеркивает, что это будут собственно лингвистические законы — «...не физиологические, не психологические, а языковые законы», отражающие, если оставаться в русле его суждений, «лингвистическую реальность» языка, его структурные закономерности. «Поиск общих законов... должен являться одним из важнейших предметов языковедения... Такие законы выходят за рамки семьи языков. Они относятся ко всему человечеству» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 11]\*. Но и подобные структурно-лингвистические законы высшего порядка не дают полной картины изменения языка: «Общие законы исторической фонетики или морфологии недостаточны для объяснения какого-либо факта; они выражают лишь постоянные условия...» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 15—16].

---

\* В требовании установления наиболее общих языковых законов, «относящихся ко всему человечеству», можно усмотреть отклик французской традиции универсальной грамматики, утратившей свои позиции в связи с формированием в начале XIX в. сравнительного языкознания, объявившего себя единственно научным (анализ традиций универсальной грамматики см., например, [Бокадорова, 1987]).

Постоянным условием, по А. Мейе, является, например, та или иная фонетическая позиция, постоянно также анатомическое строение человека... Каждое конкретное изменение должно рассматриваться в непрерывной цепи исторического развития языка. И с этой точки зрения фонетические условия существуют всегда или, по крайней мере, на протяжении длительного периода истории языка, тогда как конкретное изменение происходит в какой-то определенный момент. Фонетические законы в какой-то точке временной оси начинают свое действие и на каком-то этапе исторического развития — прекращают. Подобная констатация, объяснение одних структурных условий через другие не удовлетворяют А. Мейе. Он стремится найти и охарактеризовать некий «спусковой механизм», дающий начало данному изменению и в конечном счете обуславливающий реализацию потенциальных возможностей системы языка.

Необходимо, указывает А. Мейе, определить «переменные условия, которые... вызывают реализацию познанных таким образом (т. е. чисто лингвистическим путем, в результате системного анализа и исторического описания. — К. Л.) возможностей» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16]. А. Мейе не ограничивается общим признанием роли структуры социума в эволюции языка и выдвигает более сильное требование: «...предположительно, **каждое изменение общественной структуры находит отражение в изменении условий развития языка...** Единственный переменный элемент, к которому следует обращаться при объяснении языкового изменения — это изменение социальное. Изменение языка есть не что иное, как результат, иногда непосредственный и прямой, а чаще опосредованный и непрямой, социального изменения. Следует определить, **какой социальной структуре соответствует та или иная языковая структура...** **Как проявляются изменения социальной структуры в изменении структуры языка**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 17].

Таким образом, **структура общества выступает и как фактор диахронического изменения, и как условие синхронической стратификации языка.** Однако обе стороны зависимости языка от социума предстают в самом общем виде. Требование изучать изменения языка в зависимости от структуры общества вынужденно носит лишь общий характер, конкретизация этой зависимости в эпоху Мейе была еще фактически невозможна, и в первую очередь, ввиду недостаточной разработанности представлений о структуре общества и механизме связи языковых процессов с социальными. Допуская возможность «непосредственной и прямой» связи языкового изменения с социальным, А. Мейе все-таки далек от вульгарно-социологически упрощенной интерпретации этой зависимости, проявляющейся, в частности, «в выведении всех идеологических форм непосредственно из способа производства» [Философский словарь, 1981,

61]. Языковое изменение он понимал как «чаще опосредованный и непрямой» результат социального изменения. Не случайно его концепция, фактически — с позиций того же вульгарного социологизма, в свое время рассматривалась даже как «недостаточно социологичная», поскольку не давала строго «социального» объяснения каждого языкового факта [Абаев, 1933, 5]. Выдвигаемая А. Мейе обширная программа не находила должного методологического обоснования. Именно так и оценивались его положения в советском языкознании: «В принципе оправданно требование А. Мейе свести изменения языка к изменениям общественной структуры. Однако остается неясным, что именно имел в виду автор — изменения отдельных элементов языка или смену морфологического типа... требует уточнения и понятие «социальной структуры» [Чикобава, 1983, 116].

Нечетко определен и характер постулируемой А. Мейе корреляции между структурами общества и языка («...какой социальной структуре соответствует та или иная языковая структура...»). История сказывается в языке не непосредственно, а через изменения в структуре общества: «Если верно, — пишет А. Мейе, — что общественная структура обусловлена историей, то сами исторические факты никогда не определяют прямо языковых, и только изменения общественной структуры способны изменить условия существования языка» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 17]. Сам социум предстает как нечто стратифицированное, состоящее из различных групп, и изменения в язык вносит не весь монолитный социум в целом, и тем более не отдельные члены общества, а группы: «Ни одна народность не является вполне однородной, и каждая социальная дифференциация может отражаться в дифференциации лингвистической» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16]. Он упоминает самые разные по характеру и социальному статусу группы, между которыми могут наблюдаться различия в языке — от мужчин и женщин, которые «особенно в условиях низкой цивилизации образуют весьма различные группы и иногда могут иметь даже различные языки» — до каст: «...древние драматурги Индии влагали родной язык в уста людей различных каст — от брахманов и царей, которые говорят у них на санскрите, и до людей низших каст, которые пользуются сильно измененным пракритом» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16].

В дифференциации языка развитого, современного общества ведущую роль А. Мейе отводит фактору «классового» расслоения: «Каждое общество... имеет тенденцию образования различных классов... и у них создаются особые языки»... А. Мейе отмечает и речевую стратификацию города, опять-таки по классовому признаку — «...в современном большом городе язык буржуазии довольно далек от языка рабочих». При этом под «разными языками» А. Мейе понимает, как известно, различия в профессиональной лексике — «...там, где существует

разделение труда, у каждой группы есть особые термины, которые не употребительны и даже не известны вне этой группы» [Meillet, 1926<sup>1</sup>, 16].

Таким образом, А. Мейе на определенной методологической основе сформулировал программу исследования социальной природы языка. Как справедливо замечает Г. В. Степанов, «вопрос о соотношении социальной структуры и структуры языка, а также о том, как изменения первой отражаются в изменениях второй, впервые в четкой форме был поставлен в ряде работ главою французской социологической школы А. Мейе» [Степанов, 1976, 12]. Через социальную структуру языка он намечает один из возможных путей решения сложнейшей лингвистической проблемы соотношения частного и общего в языке. Характеризуя социологизм лингвистического учения И. А. Бодуэна де Куртенэ, Т. С. Шарадзенидзе отмечает, что «он признавал общественный характер языка еще до Соссюра и французской социологической школы», что «на социальность языка еще в начале XIX в. указывали Гумбольдт, затем Штайнталь, а позже Уитни», однако «трудности, связанные с проблемой взаимоотношения социального и индивидуального в языке, не смогли преодолеть многие лингвисты до Бодуэна и после него» [Шарадзенидзе, 1980, 33—34]. А. Мейе переходит от признания общей социальной природы языка (принадлежащего всему социуму в целом) к необходимости исследования конкретных проявлений социальности языка. Названная выше проблема выводится на новый для его времени уровень групповой вариативности, что, собственно говоря, и делает А. Мейе предшественником современной социально ориентированной лингвистики. Вместе с тем «группа» характеризуется такими признаками, которые условно можно назвать «классовыми», учитывая, что «слово «классовый» не имеет в словоупотреблении западноевропейских авторов того строго терминологического значения, которое оно получило в современной советской (марксистской) социологии» [Жирмунский, 1969, 237]. Основной причиной синхронной языковой вариативности А. Мейе считает «постоянные» социально-экономические признаки группы (как бы предвосхищая разрабатывавшуюся в американской социолингвистике 60-х годов теорию ковариирования языковой и социальной дифференциации, связанную с концепцией «ограниченного» и «развернутого» кода).

Представление о релевантной с точки зрения функционирования и синхронной дифференциации языка социальной группе, получившее принципиально иное уточнение в советской социолингвистике, остается у А. Мейе еще весьма неопределенным. И все-таки можно утверждать, что в конце XIX — начале XX вв. А. Мейе выдвинул требование о необходимости уста-

новления некоторой промежуточной связующей ступени между историей общества, структурой социума и стратификацией языка.

#### § 4. О двух гносеологических идеализациях языка

Прослеживаемые на примере концепций Соссюра и Мейе различия в трактовке социальной природы языка и, соответственно, задач лингвистики в конечном счете отражают проблему философского осмысления сущности естественного языка, ибо именно «в философских теориях языка впервые был очерчен контур той сферы, где следует искать решение проблем языка, поставленных в широком гносеологическом и онтологическом плане [Мачавариани, 1980<sup>1</sup>, 40].

В советской лингвистической литературе, особенно в работах, посвященных философским аспектам языка и языкознания, четко наблюдается традиция рассмотрения природы языка, взаимоотношения языка и общества, языка и индивида в тесной связи с соответствующими течениями философской мысли. Еще в конце 20-х годов В. Н. Волошинов говорил о двух направлениях в философии и общей лингвистике, трактующих «проблему выделения и ограничения языка как специфического объекта изучения» [Волошинов, 1926, 58]. Первое из направлений он условно называет «индивидуалистическим субъективизмом», а второе — «абстрактным объективизмом». Наиболее ярким представителем первого направления, исходящего из признания активной роли человека и социума в целом, автор признает В. Гумбольдта, а в формулировке основного тезиса всего направления подчеркивает динамизм, непрерывную изменчивость языка, трактуемого как «вечно текущий поток речевых актов» [Волошинов, 1929, 64]. Во втором направлении, сосредоточивающемся на автономном рассмотрении языка вне связи с социальным и духовным миром человека, «центр... перемещается... в языковую систему» [Волошинов, 1929, 64]. В рамках «абстрактного объективизма» Волошинов объединяет, в частности, интересующие нас лингвистические и социологические концепции Соссюра, Мейе и Дюркгейма.

При этом исследователь не сводит Соссюра к Дюркгейму: «Соссюр и его школа не единственная вершина абстрактного объективизма. Рядом с ней возвышается другая — социологическая школа Дюркгейма, представленная в лингвистике такой фигурой, как Мейе» [Волошинов, 1929, 75].

В данном положении привлекают внимание одновременно несколько моментов. Во-первых, лингвистическая теория Соссюра, с нашей точки зрения — вполне справедливо, не выводится непосредственно из социологической концепции Дюркгейма (срв. более позднее утверждение Э. Косериу о том, что

«концепция Соссюра есть перевод натуралистической теории Шляйхера на язык социологии»). Соссюр ставится рядом с Дюркгеймом как создатель своей, оригинальной концепции. Во-вторых, подчеркивается независимость А. Мейе от Соссюра, что также совершенно оправданно, если учитывать особенности социологизма теоретических положений двух названных лингвистов (хотя Волошинов исходил, видимо, из иных обстоятельств).

И наконец, А. Мейе однозначно включается во второе направление как один из его ярких представителей в лингвистике. Последнее утверждение нам представляется недостаточно правомерным, поскольку опирается лишь на декларативное по сути признание Антуаном Мейе приложимости дюркгеймовской дефиниции социального феномена к языку.

Анализируя сущность языка на фоне общефилософских концепций, М. В. Мачавариани выделяет т. н. «номиналистическую» идеализацию языка, предполагающую взаимонезависимое существование трех наделенных имманентной структурой различных сфер — мысли, объектов и знаков. В соответствии с данной идеализацией языка, восходящей к аристотелевской философской традиции, названные сферы определяются таким образом, что «понятие человека не является существенным и необходимым компонентом их дефиниции. Субъект, познающий, говорящий человек... остается фактически за пределами этой теории. Мышление, логика, язык даны ему как бы в готовом виде. Он является лишь носителем мысли и языка, а не творцом, активным началом». Такое понимание природы языка дает возможность «абстрагировать его в качестве имманентного предмета рассмотрения, помимо отношения к мысли и объективному миру...». [Мачавариани, 1980<sup>1</sup>, 41—42].

Принцип имманентного рассмотрения объекта действительно может служить основой включения концепций Соссюра и Дюркгейма в рамки одного философского течения. Мейе же скорее сближается с иной философской традицией, в русле которой язык понимается как одна из форм существования внутреннего и социального мира человека, как одна из форм жизни... В XIX в. особенно яркое воплощение эти идеи нашли в системе взглядов Гумбольдта.

В наиболее общей дефиниции языка Антуану Мейе действительно характерно стремление подчеркнуть параметры, присущие «социальному феномену» Дюркгейма, и обосновать общую «социальную реальность» языка (в определенной мере, в противовес «индивидуально-деятельной» интерпретации, усматривавшей его реальность только в индивидууме [Петерсон, 1927, 10]). В этом плане положения А. Мейе могут быть отнесены к той идеализации языка, которая находит логическое завершение... в построениях современного структурализма..., где язык, согласно определению, абстрагируется как от

носителя, так и от мысли и объективного мира [Мачавариани, 1980, 43].

Однако более существенным для общелингвистической концепции А. Мейе представляются по сути дела продолжающие французскую лингвистическую традицию и столь эксплицитно выдвигаемые им требования рассматривать и объяснять непрерывную эволюцию и стратификацию языка в связи с процессами социального порядка. А. Мейе фактически признает роль «духовного и социального активного начала», постоянно преобразующего стереотип, создаваемый посредством языка и социальной нормы. Действительно, лингвист, приняв в теории «догмат об имманентной сущности языка, не станет обращаться к фактам и факторам неязыкового ряда, полагая их несущественными для описания языка... Напротив, языковед, рассматривающий свой объект как систему, которая функционирует во времени, пространстве и обществе, будет стремиться учесть это взаимодействие» [Степанов, 1976, 6].

С этой точки зрения Соссюр — создатель «лингвистики языка», рассматривающей язык «в самом себе и для себя», последовательно остается в рамках традиции, абстрагировавшей язык в качестве имманентного объекта. «Компромисс между социологическими учениями Дюркгейма и Тарда» (выражающийся, в частности, в замене «императивности» — «традиционностью»), предполагавшийся как одно из возможных объяснений особенности лингвистической концепции Соссюра, скорее может быть отнесен к теоретическим положениям А. Мейе. Однако признание им активной роли социума, требование изучать язык в тесной связи с духовной и социальной деятельностью человека объективно следует рассматривать не просто как результат влияния и попытку примирения двух социологических учений, а как переход от одной философской идеализации языка к другой.

### Краткое сопоставление (вместо выводов)

1. В стремлении охарактеризовать объект и задачи лингвистики Ф. де Соссюр и А. Мейе обращаются к господствовавшей в их время социальной теории, что и обуславливает в значительной мере становление социально ориентированной теории языка и науки о языке.

2. Сближение с социологией обнаруживается как в постулируемой архитектонике лингвистики, так и в отношении дефиниции изучаемого объекта.

В частности, построение науки о языке в целом в интерпретации Соссюра во многом повторяет структуру социологии, предложенную О. Контом (учение о социальной статике и динамике); «лингвистика языка» проявляет заметное сходство с концепцией «социального познания» Э. Дюркгейма.

С другой стороны, А. Мейе в своих теоретических положениях исходит из дюркгеймовского понимания социального факта.

3. Вместе с тем Ф. Соссюр признает релевантными для «языка» основные выделяемые Э. Дюркгеймом параметры социального феномена (императивность, независимость от индивидуальных проявлений...). Однако при этом он не соглашается с отнесением языка «ко всем прочим социальным установлениям».

4. А. Мейе принимает дефиницию Дюркгейма, но делает при этом выводы, из нее по существу не вытекающие.

5. Мейе распространяет признание социальности и системности на всю речевую активность человека.

6. Соссюр на основе тех же признаков в рамках речевой деятельности вычленяет особый, социальный феномен — «язык».

7. А. Мейе признает социальность языка основным условием его эволюции и стратификации, хотя конкретный механизм реализации зависимости языка от социума остается неуточненным.

8. Ф. де Соссюр также считает социум исходной посылкой существования языка, но характеризует язык посредством таких параметров, которые фактически выводят его из-под влияния социума, а лингвистика, соответственно, включается в семиологию, «изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества» [Соссюр, 1977, 54].

9. А. Мейе, напротив, стремится установить социальные условия, регулирующие жизнь языка, его стратификацию и эволюцию.

10. Механизм зарождения и распространения инноваций и у Соссюра и у Мейе остается весьма неопределенным.

11. Общие социально-исторические установки французской лингвистики представляются Соссюру недостаточно строгими. В предлагаемом современном ему языкознании объяснении механизма языкового изменения он не усматривает должной методологической базы для установления системности и социальности изменений и вариативности языка.

12. Таким образом, социальность языка в концепциях А. Мейе и Ф. де Соссюра выступает, преимущественно, в двух различных ипостасях. Для Соссюра социальность прежде всего оказывается залогом всеобщности и системности языка. А. Мейе выдвигает на первый план другую сторону той же социальности — социальная природа языка при таком подходе служит основой и условием как стратификации языка в синхронии, так и его изменения в диахронии.

13. Соответственно, общетеоретические концепции Мейе и Соссюра предстают как лингвистические манифестации двух «философских идеализаций языка».

14. «Лингвистика языка» может быть интерпретирована как попытка внесения детерминизма в объект изучения. Разрабатываемая Соссюром детерминативная модель «языка», элиминирующая внесистемные связи, объективно оказывается в русле гносеологической традиции, абстрагирующей язык в качестве имманентного объекта рассмотрения.

15. А. Мейе стремится вскрыть четкую системно-социальную обусловленность изменения и вариативности языка и обращается с этой целью к понятию «социальной структуры». Ориентация на человека, носителя языка как члена определенной «социальной структуры» соответствует методологическому требованию рассматривать язык в связи с духовным и социальным миром человека.

16. Одним из программных требований социального подхода к языку в интерпретации А. Мейе можно признать необходимость установления и изучения той ячейки социальной структуры, которая обуславливает как социо-коммуникативную стратификацию языка, так и эволюцию элементов его структуры (что чуждо или второстепенно в концепции Соссюра).

•

## ЧАСТЬ II

# СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ

### ГЛАВА I

## СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ЯЗЫКА И ПРОЦЕСС ЯЗЫКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А. Мейе фактически выдвинул проблему социальной группы, релевантной в плане функционирования, стратификации и эволюции языка. Тем самым, по сути дела, были заложены основы направления, «изучающего лингвистическое поведение человека как члена общества», лингвистики, координаты которой «устремлены к одному центру — человеку» [Звегинцев, 1982, 253—254], рассматриваемому с точки зрения его включенности в ту или иную социальную группу. Вместе с тем прослеживаемая в суждениях Мейе склонность к преувеличению роли постоянных социально-экономических параметров личности в расслоении языка (А. Мейе в частности говорит о «языке» высшего и низшего сословий) так или иначе обнаруживается в различных направлениях социолингвистики, сложившихся в XX веке, что опять-таки объясняется по сути дела той же интерпретацией социальной природы языка, отнесением его ко всем прочим социальным установлениям.

Советская социологическая лингвистика 20—30 гг., испытавшая определенное влияние идей А. Мейе, сформировалась, как известно, на богатых социально-исторических традициях русской лингвистической мысли, нашедших яркое отражение, в частности, в программном положении И. А. Бодуэна де Куртенэ, сформулированном еще в начале XX в.: «Первым, кардинальным требованием объективного исследования должно быть признано убеждение в безусловной психичности (психологичности) и социальности (социологичности) человеческой речи» [Б. де Куртенэ, 1963, 17]. Вместе с тем советским лингвистам, естественно, было присуще стремление объяснить связь социальных процессов с языковыми на методологической базе положений исторического материализма. И все-таки недостаточное внимание к марксистской трактовке социальной сущ-

ности языка привело в тот период к включению его в класс надстроечных явлений; объяснение социальной стратификации языка страдало «слишком прямым, механическим приурочиванием этих слоев, или «уровней», общенародного языка к общественным классам» [Жирмунский, 1976, 249].

С другой стороны, в 50—60 гг. в американской социолингвистике получила распространение гипотеза «коварирования», увязывавшая понятия «развернутого» и «ограниченного» кодов с «классовой» структурой общества. Выдвинутое английским психологом Бернштейном предположение об ограниченном, а потому — предсказуемом выборе средств языкового выражения, применяемых в определенных ритуальных ситуациях общения, и разработанном коде, используемом в других социальных ситуациях [Bernstein, 1967], было распространено на социальную стратификацию языка в целом. Разработанный код, отличающийся большей свободой выбора и меньшей предсказуемостью, был объявлен достоянием т. н. «среднего класса», а ограниченный код приписывался рабочему классу.

Эта частная социолингвистическая гипотеза, как и вся социолингвистика в США, развивалась на фоне незнания или игнорирования предшествующей европейской традиции. Так, пожалуй, один У. Лабов счел необходимым заметить, что «первые контакты (всего лишь контакты. — К. Л.) лингвистики с социологией наблюдаются у А. Мейе», и тут же подчеркивает, что «первые социолингвистические исследования, обнаружившие социальную стратификацию языка, заимствовали объективные индикаторы из социо-экономики» [Labov, 1978, 93—95]. Отмечается также, что социолингвистические параметры личности были взяты из социологии коммуникации [Reuter, 1943, 208]. Становление американской социолингвистики, возникшей, с одной стороны, на продолжении традиций этнолингвистики (Ф. Боас, Э. Сэпир...), а с другой — как реакция на крайности структурализма в его дескриптивистской разновидности, действительно проходило в тесном взаимодействии с конкретной социологией и на основе ее понятийного аппарата. Здесь же, по признанию американских социологов, «на всем протяжении, начиная с весьма общей «систематической социологии» и кончая весьма детальным анализом «малых групп», к сожалению, все чаще встречается полное пренебрежение к важным работам предшественников или же полное невежество в этом отношении» [Современная соц. теория, 1981, 7].

Гипотеза Бернштейна не получила полной поддержки в социолингвистике США. Лабов, изучавший социальную стратификацию английского языка в Нью-Йорке, вынужден был признать, что ту или иную социолингвистическую переменную «трудно однозначным образом истолковать... саму по себе, например, отличить небрежно говорящего коммивояжера от

тщательно говорящего водопроводчика», и назвал это «одним из наиболее поразительных открытий социолингвистики» [Labov, 1966, 155]. Констатация вторичности «классового» признака при интерпретации речевого сигнала позволяет заключить, что Лабов не принял гипотезы Бернштейна [Домашнев, 1982, 63]. Не основным условием стратификации языка признает классовый фактор и И. Фишман [Fishmann, 1973]. И все-таки в цитированной работе У. Лабов оперирует понятием «социально-экономического класса», который определяет речевое поведение, зависящее от «степени, в которой индивид обладает богатством, знаниями и властью». Как замечает по этому поводу А. Д. Швейцер, многие лингвисты даже во второй половине XX в. преимущественно интерпретировали социолингвистические процессы на фоне именно классового расслоения общества [Швейцер, 1983<sup>2</sup>, 39; Швейцер, 1971]. Тем не менее понимание вторичности классового признака как фактора социального расслоения языка получает в современной социолингвистике все большее признание. Как замечает Л. П. Крысин: «...в современном обществе языковые различия, обуславливаемые неодинаковым социальным статусом говорящих, в целом незначительны и, по-видимому, испытывают тенденцию к дальнейшему уменьшению» [Крысин, 1981, 21—22]. По наблюдениям специалистов, даже в современных буржуазных нациях «линия социально-языкового изоморфизма, в соответствии с которой отдельные формы существования национального языка могли бы быть соотнесены с тем или иным классом или социальной группировкой общества, достаточно четко не прослеживаются» [Домашнев, 1983, 146].

Принципиальные методологические основы преодоления вульгаризации в объяснении связей языковых процессов с социальными были разработаны в советской лингвистике после дискуссии 50-го года. Решающим в этом отношении оказалась эксплицитная констатация того факта, что язык не относится к явлениям базиса или надстройки, а включается в «более широкое понятие духовной культуры, которое исчерпывает всю сферу общественных явлений» [Федосеев, 1964, 34].

Другое, существенно важное для социолингвистики положение связано с разработанным в марксистской социологии детализированным представлением о структуре общества, согласно которому «социальная структура может быть рассмотрена в узком, ограниченном смысле — только как социально-классовая, но ее можно рассматривать и в более широком смысле — как единство социально-классовой, социально-демографической, социально-этнической, социально-территориальной, социально-профессиональной структур». [Развитие социальной структуры общества, 1985, 10]. В социолингвисти-

ке получает распространение понимание того, что конкретные формы социальной дифференциации не закрепляются непосредственно и однозначно за носителями языка или группами носителей [Жирмунский, 1982, 22]. Допущение жесткой корреляции все больше уступает место исследованию «двух типов социальной дифференциации языка, соотносимых с социальной структурой данного общества и с различными социальными ситуациями» [Швейцер, 1971, 44]. Возникает необходимость уточнения общего характера социолингвистической теории, учитывающей все многообразие социальных связей и многоаспектность социальной структуры. «...особую важность приобретает разработанная в марксистской социологии нерархическая модель социальной структуры, предусматривающая выделение первичного, классового уровня и вторичного, образующего более мелкую сетку, накладываемую на классовую и включающую внутрикласовые, промежуточные и пограничные социальные слои» [Швейцер, 1983<sup>2</sup>, 39].

Требование адекватного описания зависимости стратификации языка и эволюции элементов его структуры от микроструктуры общества выдвигает необходимость вычленения и характеристики соответствующих звеньев социальной структуры, «в которых реально и протекает языковая жизнь человека и которые занимают промежуточное место между национальным языковым единством и языковой индивидуальностью» [Семьдесят лет..., 5].

Понимание особой социальной сущности языка и вытекающее отсюда преодоление его социально-классовой трактовки, а также представление о микроструктуре общества, включающей различные социально-профессиональные, культурные, демографические и т. д. слои и группы, приводит к принципиальной иной интерпретации социальной стратификации языка, не связанной непосредственно с собственно классовой принадлежностью говорящих.

В советской социолингвистике справедливо отмечается снижение уровня языковых различий, обусловливаемых постоянным, социально-классовым статусом говорящих (А. И. Домашнев, Л. П. Крысин). На первый план выдвигается понимание «речевой общности», предполагающей группу носителей языка, объединяемых на основе переменных (культурных, демографических, профессиональных, ситуационных) социальных параметров и использующих какую-либо форму речи [Никольский, 1976, 48]. Предлагается также понятие «речевого коллектива», «отличающегося от других не инвентарем языковых единиц, а их употреблением в речи» [Швейцер, 1971, 32], или же предполагающего различия «как по набору активно используемых средств, так и по характеру их употребления в речи» [Крысин, 1981, 5].

Разрабатываемое в советской социалингвистике понимание социальной группы, формирующей особые речевые коллективы, не только адекватно отражает синхронную социо-коммуникативную стратификацию языка. Такое понимание отдельных социальных групп и их роли в стратификации языка оказывается продуктивным и при социалингвистическом описании разноуровневых внутривидовых процессов, протекающих в условиях языкового контакта.

Если с синхронической точки зрения те или иные группы отличаются «известными особенностями языка» (Ю. Д. Дешериев), а в диахроническом плане оказываются способными направлять функционирование и развитие своего языка, социализировать или отвергать варианты языковой техники, порождаемые эволюционирующей языковой структурой (В. К. Журавлев), то в условиях контакта они могут выступать и в более активной роли инициаторов новых для данной языковой системы средств выражения.

В рамках отдельных групп, в наибольшей степени вовлеченных в процесс культурно-ареального взаимодействия, в силу присущих им параметров (например, высокого уровня владения контактирующими языками и профессионально языковых интересов) формируются новые коммуникативные потребности, находящие конкретную языковую реализацию. В частности, реализация таких потребностей приводит к структурно-функциональному переосмыслению действующих в языке средств выражения и порождения на этой основе новых технических средств. Указанный процесс в работе трактуется как культурно и социо-коммуникативно обусловленная контактная реинтерпретация тех или иных элементов языковой структуры, отражающая диалектичность развития языка, предполагающую как необходимость следования общим культурно-ареальным тенденциям, так и сохранения фундаментальных структурно-типологических принципов построения данной языковой системы.

Формирование коммуникативно-языковых потребностей указанного порядка, их направленность регулируются конкретными культурными и социально-историческими условиями. Наиболее активно подобные потребности формируются в эпохи интенсивного взаимодействия с центром культурно-языкового ареала, в период становления новых функциональных стилей или форм существования литературного языка, а также в процессе включения языка в новый культурно-языковой ареал.

Как показывает анализ с этой точки зрения пятнадцативековой истории грузинского литературного языка, входившего в разные культурно-языковые ареалы и, соответственно, с

той или иной степенью интенсивности контактировавшего с разноструктурными языками, в роли таких групп выступали, в частности, книжники-переводчики, представители эллинофильской научно-литературной школы (XI—XII вв.), позже, во второй половине XVIII в., заметное воздействие на литературный язык оказывает ориентированная на русско-европейский культурно-языковой ареал нормализаторская деятельность Антония I и возглавляемой им школы; в середине XIX в. т. н. грузинские шестидесятники проводят реформу, приводящую к становлению новогрузинского литературного языка... Таковы культурно-социальные условия рассматриваемого процесса.

\* \* \*

С лингвистической точки зрения, 1) реинтерпретации подвергаются единицы родного или функционально первого языка; 2) реинтерпретация обычно носит целенаправленный характер и 3) в результате возникают функционально новые для данной языковой системы единицы выражения.

Реинтерпретация позволяет проследить скрытые, менее доступные наблюдению сдвиги в структурных элементах языка и отличается как от заимствования (целенаправленного или спонтанного), приводящего к возникновению функционально и материально новых (культурно-исторически оправданных или избыточных) единиц, так и от разного рода явлений произвольной интерференции, затрагивающей преимущественно второй язык и не порождающей новые средства языкового выражения, а обнаруживающейся в функционально-семантическом смешении, неразличении или, напротив, в гиперкоррекции технических средств второго языка.

Лингвистический механизм реинтерпретации объясняется, видимо, возможностью понимания отдельных языков как целостных и вместе с тем «дополняющих друг друга» систем членения объективной действительности: «...любой отдельный язык, — замечает В. Гумбольдт, — можно назвать фрагментом лишь в переносном смысле... целое... составлено не из некоторого количества взаимодействующих и единообразно... целенаправленных частей, но, скорее, из ряда методов, представляющих всегда целостное, но всегда различное функционирование этих частей. В этом отношении языки, если не рассматривать их родства, скорее **дополняют друг друга**» (подчеркнуто нами. — К. Л.) [Гумбольдт, 1985, 381]. Каждый такой язык-«фрагмент», будучи завершенным целым, с присущей ему «картиной мира» и организацией технических средств, не только четко и «непреодолимо» отграничен от всех других языков, но и в силу той же «дополнительности» связан с дру-

гими языками или, по крайней мере, с определенным кругом языков.

В частности, реинтерпретация грамматического инвентаря оказывается понятной и допустимой, если учитывать, что грамматическая категория может быть рассмотрена как «категория общения и понимания, т. е. выставления предмета в том или ином свете, с точки зрения той или иной смысловой задачи. Категория специализации и конкретизации предмета... грамматическая категория указывает не на сам предмет, а на ту или иную его интерпретацию» [Лосев, 1982, 359].

В процессе ознакомления с новыми языковыми системами билингвы сталкиваются с различными конкретными реализациями функционально-семантически сходных, как бы «инвариантных» (точнее, «ареально инвариантных») грамматических и шире — языковых категорий. Категорией инвариантного, более общего порядка можно признать, например, категорию оценки качества предмета, морфологически реализуемую в виде двух- (в грузинском языке) и трехступенчатых (в русском и ряде других индоевропейских языках) систем степеней сравнения. Одним из общих требований построения естественно-языковой системы представляется также необходимость классификации субстантивов, реализуемая в разных языковых системах посредством различных критериев классификации. Так, если в русском языке действует система, основанная на признаках одушевленности//неодушевленности и категории грамматического рода, то в грузинском языке субстантивы классифицируются по признакам одушевленность//неодушевленность и человек//не человек.

Возникающее у носителей двух языковых систем ощущение «дефицита» порождает интенцию к поиску и реинтерпретации соответствующих средств языкового выражения. Группы или отдельные представители, выражающие языковые установки данных групп, выступают таким образом в качестве «отправных точек» (Е. Д. Поливанов) языкового изменения или в роли кодификаторов сложившихся в определенных группах или жанрово-стилистических вариантах языка тех или иных технических средств.

Однако приходящие в узусе билингвов в непосредственное соприкосновение категории могут представлять собой структурно, коммуникативно-познавательное и информативно эквивалентные реализации инвариантных категорий. Отношение такого рода связывает, в частности, упомянутые выше конкретные системы классификации субстантивов по разному набору признаков. Поэтому реинтерпретация действующей в данной языковой системе той или иной категории с позиций иноязычной, но эквивалентной категории — например, попытка введения категории «рода» в грузинский литературный язык — оказывается в противоречии с фактом функциониро-

вания «в многообразных языках мира разных, но равноценных средств выражения» [Шарадзенизе, 1981, 124] аналогичного содержания. Перераспределение релевантных признаков и критериев и создание на этой основе новых средств языкового выражения, а тем более — новых категорий и парадигм порождает опасность нарушения основообразующих принципов построения той или иной конкретной языковой системы, ибо «распределение схожих грамматических значений в разных языках не может быть изоморфным, т. е. одно-однозначным благодаря специфике грамматической парадигматики и синтагматики того или иного языка» [Мачавариани, 1980<sup>2</sup>, 124]. Реинтерпретированные элементы указанного характера, «имеющие мощных конкурентов» (Б. А. Серебренников) в данной системе, обычно не приживаются или на протяжении определенного периода сохраняются в ограниченных сферах языкового узуса.

С другой стороны, контактирующие реализации могут репрезентировать различные ступени потенциального развития данной категории. В частности, трехступенчатая система степеней сравнения может быть рассмотрена как реализованная потенция двуступенчатой системы морфологического выражения растущей степени качества. Формирующаяся и актуализирующаяся поначалу в рамках какой-либо ограниченной социальной группы новая коммуникативная потребность подобного рода может соответствовать обще- или ареально-культурной направленности языкового процесса и имманентным тенденциям внутривидового развития. В данном случае реинтерпретация как бы улавливает потенциальные возможности системы, «упреждает» потребности основной массы носителей языка и выступает таким образом в роли катализатора развития системы. По мере расширения объема группы, послужившей инциатором нового средства, или по мере актуализации и социализации данной языковой потребности для других групп носителей языка инновация (с необходимой в ряде случаев коррекцией) распространяется на весь язык.

Социолингвистический анализ дает возможность проследить динамику распространения (или напротив — затухания) реинтерпретированных описанным выше образом единиц.

## ГЛАВА II

### ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ В ГРУЗИНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

#### § 1. Возникновение семантической оппозиции в рамках одной (бóльшей) степени сравнения

Присущая грузинскому литературному языку система выражения степени качества в картвелологии трактуется неравнозначно. Согласно одной интерпретации, ориентирующейся на древне- и новогрузинский язык (вплоть до XX в), «в грузинском языке есть лишь одна форма (с аффиксом *u-es*,—К. Л.), обозначающая свойство предмета в большей степени, чем положительная. Это форма элатива—*uproobiti* [Шанидзе, 1971, 140]. В соответствии с другой квалификацией, учитывающей данные первой половины XX в., «грузинскому языку характерно образование степени сравнения посредством префикса *u* (<*hu*<*xu*) и суффикса *-es*. Вместе с тем эта форма в одних случаях имеет значение сравнительной, а в других — превосходной степени» [Чикобава, 1967, 37]. В современном же грузинском языке сложилась трехчленная система степени качества, четко различающая сравнительную и превосходную степень и использующая с этой целью как синтетические, так и аналитические средства языкового выражения.

Характерная грузинскому, а также занскому (*u-aš*) и сванскому (*хо-а*) языку возможность морфологического выражения степени качества (отличающая картвельские языки от горских иберийско-кавказских, где степень сравнения выражается аблативной конструкцией с прилагательным (наречием) в **положительной** степени — «(от) меня хороший») исторически сформировалась на основе системы версионных отношений с участием личных показателей [Шанидзе, 1936, Шанидзе, 1973; Мачавариани, 1958; Зурабишвили, 1958; Зурабишвили, 1962].

Личные показатели, естественно, обеспечивали выражение **отношения по степени качества**, а постольку «...не было нужды в употреблении соответствующих имен, ибо значение лица выра-

жалось самими формами элатива. Иначе говоря, древние формы \**gi-did-es-i*, \**mi-did-es-i*, \**xu-did-es-i* на современный язык следует переводить—«больше меня», «больше тебя», «больше него»... [Шанидзе, 1936, 338].

Впоследствии, в результате нейтрализации противопоставления имен по лицам сохранилась лишь форма третьего лица элатива: (x)-*u-did-es-i*, утратившая способность самостоятельно выражать соотношение по качеству и перенявшая только часть прежнего семантического объема—значение бóльшей степени качества безотносительно к конкретному объекту, т. е. вне прямого сравнения. Так возникла исторически засвидетельствованная форма недифференцированной бóльшей, а не собственно сравнительной степени. Синтетическое выражение степени качества, не предполагающей сравнения, естественного и для других типов степени качества, известных в картвельских языках, в частности для т. н. «умерительной» (*odnaobiti*) степени, обозначающей степень качества вне сравнения (груз. *то-о*; мегр. *то-е*; сван. *та-а*), которая «не имеет при себе сравниваемого объекта, не характеризуется той синтаксической конструкцией, которая свойственна степени сравнения» [Зурабишвили 1962, 643].

Синтаксическая конструкция в грузинском языке возникает в порядке компенсации утраченной формой элатива способности выражать отношение по растушей степени качества. Таким образом, в рамках одной ступени сравнения уже на древнейшем, документально зафиксированном с V в. этапе развития литературного языка сложилась оппозиция между сравнительной конструкцией, включавшей в себя древнюю форму элатива и выражавшей относительную бóльшую степень качества, и той же формой элатива, употребляемой вне конструкции и обозначающей безотносительную бóльшую степень качества: *udidesi čmsa* «больше меня»—*udidesi* «больше».

Параллельное употребление формы элатива сохраняется на протяжении всего древнегрузинского языка.

1, Форма элатива в сравнительной конструкции: *da ikmna ġupo uhatovnēs pīrvēlsa mīs ġynisa* (Мучен. св. Евстафия 169, 24)\* «И стало вино, *вкуснее* того первого *вина*»; *učinarēs šensa sxuata*

---

\* Иллюстративный материал древнегрузинского литературного языка см.: Памятники древнегрузинской агиографической литературы (V—X вв.), кн. 1. — Тб., 1963; Историческая хрестоматия грузинского языка (памятники V—X вв.). — Тб., 1956.

xelmçipeta mtañzes me (Мучен. св. Евстафия 174,8) «*Прежде тебя* другие государи мучили меня...»; da vitarca ali egzeboda... samgzis mzisа uprcqinvalēsi (Житие Григола Хандзтийского, 260, / 20—21) «...и будто пламя возгоралось... трижды *ярче солнца*»; idarēssa šensa ni gamoeziebo, da uzlierēssa šensa ni ganiķitxavo (Мучен. св. Або 177, 11, срв. перевод К. С. Кекелидзе: «...не ищи того, что *ниже тебя*, и не испытывай, что *сильнее тебя*»).

Конструкция данного типа в памятниках встречается относительно редко, поскольку предполагает конкретизацию значения. Чаще встречается

II. Форма элатива вне конструкции. Указание на сравнение двух объектов может быть дано непосредственно во фразе или вытекать из более обширного контекста: хuces, ni mzi-me-gičn ese, gametu mup igi maṭli *udidēs* ars («Мучен. св. Шушаники, 157, 1) «Отче, не почитай это трудностью, ибо там черви *больше*» (срв. К. С. Кекелидзе «...там черви *крупнее этого*»); *imžobēs* ars čemda xelta mistagana siķvdili, vidre... (Мучен. св. Шуш., 148,12) «Лучше мне смерть принять от рук его, чем...»; gomeli *uķetēs* iqos, igi gčuli ševiqvarot (Мучен. св. Евст., 165, 22) «Которая вера (из двух—К. Л.) *лучше* окажется, ту веру возлюбим», da gomelimса gčuli *učminde* iqo igimса ševiqvare (Мучен. св. Евст., 1965, 31) «И которая вера (букв.) *святое* была, ту и возлюбил»; gomeli igi *uxicēs* iqo erti *umrcetēs* (Жит. Серапиона Зармзского 218, 22) «один был *старше*, а другой *младше*».

Значение превосходной степени осязимо (с современной позиции) в тех случаях, когда сравнение двух объектов отсутствует в контексте и не детерминируется однозначно по смыслу:

ražams ixilnes moçapeni neçarisa grigolisani *upicxlēssa* monazo-pobisa қanonса... (Жит. Григ. Хандз., 259, 31—32) «Как увидели ученики блаженного Григола в более *усердном//усерднейшем* (?) исполнении канонов монашеских...»; mdinareta umdidrēsta sçaviata (Жит. Сер. Зарз., 219, 17) «Река *более богатых//богачейших* (?) учений...». Однако подобной интерпретации грамматической формы древнегрузинского языка препятствует сам факт ее параллельного употребления:

vitarca monastrisa čemisa mamani satnoebita *uzeštaōs* arian žamisa amis *mnaзonta* (Жит. Григ. Хандз., 250, 16—17) «...отцы монастыря моего благочестивостью выше монахов сего времени...» срв. gametu ara favs-idvis určebaj neçarisa grigolisi, vinajtgan moz-

γυαg da *uzestaēs* igi iqo (Жит. Григ. Хандз., 259, 2) «...но не посмел послушаться блаженного Григола, ибо был учитель и *высший*...» Попытки контекстуального осмысления данной морфологической единицы приводят к ее семантической модернизации (и к противоречивому выбору современных эквивалентов): da [vitarca aγvedit *umaγlēsta* adgilta (Жит. Сер. Зарз., 226, 24) «Как взошли на *высшее*//*более* высокое (?) место»; borcuasa mas zeda *umaγlēssa* aγašena (там же, 229, 35) «Возвел на *более* *высоком*//*самом* *высоком* (?) холме»; samxrit adgilsa mas *umaγlēssa* (там же 210,1) «К югу от того *высшего*//*более* *высокого* (?) места» и срв. *umaγlēsi sxuata* mat adgiltasa borcvi (там же, 220,17) «Холм *выше* *других* мест». В переводе К. С. Кекелидзе в первом случае обращается к превосходной степени («Как взошли на самую высокую гору»), во втором — интерпретирует интересующую нас форму как форму положительной степени («Возвел на высокой горе»), а в третьем — усматривает сравнительную степень («К югу от того места, которое выше»). Ни один из элементов сформировавшейся позже трехчленной системы оценки степени качества (будь то русские или грузинские эквиваленты), очевидно, не соответствует полностью семантическому объему элемента, включенного в двухчленную систему, различающую только положительную и некоторую «большую» ступень качества. Отсутствие морфологического противопоставления двух растущих степеней качества, прослеживаемое по оригинальной агиографической литературе, находит убедительное подтверждение в переводах с греческого, где сравнительной и превосходной степени оригинала соответствует как грузинская синтетическая форма элатива в сравнительной конструкции, так и употребляемая самостоятельно, вне этой конструкции.

III форма элатива в сопоставлении с греческим оригиналом:

а) сравнительная степень оригинала передается сравнительной конструкцией

Τί γάρ μεῖζον ἢ ἁγιώτερον τοῦ Κυριακοῦ σώματος (969, 13)\*

,... raj uprojs ars anu *uḥmides* uplisa *guamisa* (51, 29)\*\*

«... что *больше* (?) или *святее* (?) тела Христова;

λέγον ὄφτων τοῦ χείρονος εἶσαι τοὺς λόγους αὐτῶν. (941, 1—2)

*guelta uboroḥe* arian siḥqvani amatni (42, 12).

«*Злее* (?) *змеи* языки их...»;

\* См. J. P. Migne. In Antonii vitam monitum: Patrologiae Graeca t. XXVI, 1857-8.

\*\* См. Жития оццов. Текст издал В. И. Имнаишвили. — Тб., 1975 (на груз. яз.).

б) сравнительная степень оригинала передается изолированной формой элатива

Βουλευεται τοίνυν σκληροτέραις ἀγωγαῖς ἑαυτὸν ἐθίζειν. (851, 23—24).

... ganizraxa upicxlēssa marxvasa tavisa tysisasa šesvrad... (13, 32).

«... решил начать *строжайший* (?) пост».

Τί πρῶτόν ἐστι... (945, 4).

... gomeli uçinarēs ars... (43, 24).

«... который *раньше* (?)»

ὥστε βελτίων και ὀχυρωτέρα ἢ διὰ πίστεως ἐνέργεια... (952, 12).

... amieritgan umžobēsi ars da uzlierēsi...

«... отныне *лучший* (?) суть и *сильнейший* (?)»;

в) формы сравнительной и превосходной степени в одном предложении переводятся сравнительной конструкцией

ἢ μόνον ἵνα μὴ δεύτερος ἐκείνων ἐν τοῖς βελτίοσι φαίνηται (845, 6).

... rajta aga unaklulēs matsa umžobēssa mas gamočndes (13, 36)

«..дабы не *меньше* их, *лучше* (?) него появился...»;

г) превосходная степень переводится одиночным элативом

μάλιστα ὅτι Κύριος εἰρήκεν. (872, 28).

... uprojsya, gametu upalman tkwa (20, 10).

«... *больше*, ибо владыка рёк...».

τῶν δε ἄλλων τοὺς πλείστους... (865, 6).

umraulēsta survilad monazonobasa aγadginebda (18, 16).

«... *больше* (?)... восстанавливал монашество...».

## § 2. Грамматикализация одной из форм сравнительной степени

Одновременно в древнегрузинском языке протекал процесс грамматикализации одной из форм элатива, сыгравший существенную роль в дальнейшей трансформации системы оценки качества и выделении собственно сравнительной степени. По древнейшим памятникам грузинского языка прослеживаются особенности употребления одной из синтетических форм элатива — *uprojs* «более»:

а) форма *uprojs*, подобно другим формам элатива, изолированно и в составе сравнительной конструкции употребляется в своем прямом, лексическом значении «больше»:

gametu ganzaks kalaksa kristeaneni *uprojs* arian (Муч. св. Евст., 161, 28) «...ибо в Гандзе-городе христиан *больше*...»: xolo neçari saban daemorçila meored brzanebasa kurapałatısasa da *uprojs* xolo

çignsa mas misasa... (Жит. Гр. Хандз., 258, 4—5). «...и блаженный Савва покорился второму приказу Куропалата, но *более*-посланию его...»; ...da uyirsta da uçesota mamulobit *uprojs*, vidre yirsebít daerqnes uprosni saepiskopozni... (Житие Давида, 246)\*\*\*\* «...недостойные и нечестивые *более* по родовитности, нежели по достоинствам захватили большие епархии...»; msqavsad çmidata moçameta da *uprojsya matsa* (Жит. Григ. Хандз. 243, 11) «...подобно святым мученикам и *больше* них...»

б) форма *uprojs* выражает большую степень действия или качества, обозначенного какой-либо частью речи, в том числе, прилагательным в положительной степени:

da neçari habo *uprojs-ya* hmadloda ymerts (Муч. св. Або, 187, 14) «И блаженный Або *больше* благодарил Бога»; xolo huniani igi *uprojs* xolo ayborgdes... (Муч. св. Евст., 169,1 «и евреи те *более* всполошились»; aramed iqvnen igini mtqiced *uprojs* kldeta maçalta (Жит. Григ. Хандз., 248,18) «...но были они *тверды* *более* скал недвижимых»; tqbil arian sasasa çemsa siçquani ãenhi, upalo, *uprojs taplsa* pirsas çemsa (Жит. св. Або, 180,12) «*Сладки* нёбу моему слова твои, владыка, *более* меда устам моим...»

в) форма *uprojs* в сочетании с другими формами элатива.

В данном случае рассматриваемая форма выражает большую степень, нежели способна выразить обычная форма *uproobiti*, но при этом сочетается и с квантификатором *qovelta* «всех».

kldej igi xanctisaj *upicxlēs ars uprojs qovelta* mat klarçetisa udabnota (Жит. Григ. Хандз., 240, 30—31). «Скала хандзтийская *суровее* *более* всех пустошей кларджетских...»; ..romeli ars *uprojs itaqlēs qovelta*... (Обращение Картли, 108) «...которая *более* *выше* *всех* высоких...»; uçeštažs qo igi *upros qovelta* mereta kveqanisata (Житие Давида, 245) «...выше сделал его *более* всех царей мирских...».

Подобные конструкции, очевидно, приближаются к значению суперлатива, но показательно, что именно здесь уже в древнегрузинском языке ощущается избыточность одного из компонентов— либо морфологизируемого элемента *uprojs//upros*, либо самой формы элатива, несущей и лексическое значение. В частности, значение суперлатива может быть выражено и без соответствующей формы элатива (*rametu uprojs ars qvelsa* tçulsa kristeanobaj (Муч.

\*\*\*\* Житие царя царей Давида. — В кн.: Грузинская литература, т. 2. — Тб., 1987.

св. Евст., 161,29) «...ибо *выше* (букв.—больше) *всех* вер христианство...», либо без самого морфологизированного элемента *uprojs* (...*da mis žamisa qovelta umaylēs da uzeštaēs iqo* (Жит. Давида, 255) «...и был *выше*... *всех* современников его»; «...ага *umdable, aramed mravalta umayle mgonies igi* (там же 254) «...не *ниже*, а *многих выше* мною я его...»).

Грамматикализация именно данной формы элатива (*uprojs*), естественно, была обусловлена самой семантикой корневой морфемы (срв. аналогичный процесс, например, в русском языке, где в функции показателя сравнительной степени в аналитической конструкции закрепляется форма «более»).

С особым грамматическим статусом, постепенно приобретаемым данной единицей, увязывается, видимо, и ее оформление в современном грузинском языке. В памятниках грузинского языка древнейших времен (в частности, в «Мученичестве св. Шустаники», как и во всей агиографии, в переводах Ветхого и Нового Заветов, летописно-исторической литературе...) параллельно встречаются два варианта элатива—*uproobiti*: т. н. полная *-udidesi, uzeštaesi, up-cxlesi...* и краткая—*udide, upicxle...* формы, хотя в агиографии V—X вв. все-таки превалирует полная форма. Позже, в период т. н. среднегрузинского языка большее распространение получает краткая форма, но новогрузинский (а затем и современный грузинский) возвращается к полной форме. Полная форма *uprojsi//uprosi* оказывается в ряду других синтетических форм степени (*udidesi, ulamazesi ...uprosi*), хотя в современном языке в отличие от них сохраняется в значении сравнительной степени (*uprosi zma* «старший брат» при *udidesi* «наибольший») и частично субстантивируется (*uprosi*-«начальник»).

Однако в функции показателя степени в аналитической конструкции закрепляется краткая форма *upro* «более» (*upro lamazi* «более красивый»).

Таким образом из всех возможных в древнегрузинском языке употреблений рассматриваемой формы наибольший интерес представляет ее сочетание с положительной степенью прилагательного (*ṭḳbil uprojs...*), поскольку именно эта конструкция в современном языке предстает как один из способов выражения собственно сравнительной степени: *upro ṭḳbili* «более сладкий» (при отсутствии синтетической формы типа «слаже»).

Здесь же, в древнегрузинском языке складываются средства выражения того значения, которое уже в современном грузинском языке будет осмыслено как значение превосходной степени (*ur-rojs qcvelta* «больше всех», *uzeštaes qcvelta* «выше всех», *umdable mravalta* «ниже многих...»). Тем не менее морфологическое противопоставление двух ступеней растущей степени качества оставалось нерелевантным, что вытекает из возможности параллельного употребления формы элатива как в явно сравнительной конструкции (*uhamoones p̄irvelsa* «вкуснее первого», *učinares šensa* «раньше тебя»), так и вне ее (*umdidresta şavolata* «богатейших (?) учений...»), а также из недифференцированного употребления переводческих эквивалентов.

Такое употребление формы элатива сохраняется и в последующие эпохи (срв. Ш. Руставели: *da mogşordi, damtme gulita, k̄ldisaca umagresita* (1295) «крепче скалы...»), что, видимо, можно признать естественным этапом развития систем оценки растущей степени качества, располагающих возможностью морфологического выражения степени. Аналогичный процесс известен и в русском языке, где в XVIII в. допускается параллельное употребление форм превосходной степени (с суффиксом -ейш-//-зайш-) и собственно сравнительной степени (с суффиксом -ее-//-ше-) в явно сравнительной конструкции. Так, у Н. М. Карамзина находим: «Угощение заключалось также дарами, еще умереннейшими первых» [Карамзин, 110]\*\*\*\*, «Сии первые законы нашего отечества, еще древнейшие Ярославовых» [Карамзин, 132] и «...удобнее и лучше обыкновенных» [Карамзин, 126]; вместе с тем форма превосходной степени употребляется и в собственно суперлативном значении — «...признают оный древнейшим памятником языка словенского» [Карамзин, 131] и «...нужнейшие искусства механические, равно как и свободные...» [Карамзин, 136]. «В XVIII—XIX вв. простые формы превосходной степени еще сохраняли... древнейшее свое значение сравнительной степени. Такое употребление встречается у Жуковского, Пушкина, Белинского, Тургенева, Некрасова, Достоевского, Л. Толстого...» [Грамматика русского языка, 297—298].

Таким образом, весьма интенсивные культурно-литературные контакты с греко-византийским миром оказались недостаточным стимулом для формирования в древне- и новогру-

---

\*\*\*\* Карамзин Н. М. История государства Российского. — В журн. Москва, № 2, 1988.

зинском языке оппозиции между сравнительной и превосходной степенью, хотя бы в рамках переводной литературы и, соответственно, социальной группы биллингвов-переводчиков.

### § 3. Антоний I и кодификация формы превосходной степени

Первая целенаправленная попытка реинтерпретации действующей в грузинском языке двухступенчатой системы оценки растущей степени качества была предпринята в середине XVIII в. Известный общественный и культурно-религиозный деятель католикос Антоний I проводит реформу грузинского литературного языка, осуществляемую с позиций теории трех стилей. При этом написанная им грамматика фактически была ориентирована на «высокий стиль», а «средний» и особенно «низкий» стили для него существовали лишь теоретически [Бабунашвили, 1970, 217]. Примечательно, что «стили» в понимании Антония существуют не автономно, а как бы в корреляции с определенным речевым коллективом: «...первый содержит мало избранных речений и легко понятен всем... второй умеренно содержит избранные речения и не так легко понятен всем. Третий полностью состоит из избранных и сладких речений и понятен не всем, а только... мужам ученым...» [Антоний I, 183].

Созданная по образцу грамматик индоевропейских языков — сам автор называет армянский, греческий, латинский (1,5 v), — по сути дела первая «Грузинская грамматика» Антония I содржала ряд инноваций, в частности, автор предлагает трехчленную систему степеней сравнения, основанную на попытке формализации противопоставления сравнительной и превосходной степени (I 106 v—107 г). В первой редакции (1753 г.) Антоний I вводит специальный аффикс превосходной степени *u- u-es* (генезис форм с редуцированной префиксальной частью неясен: это может быть индивидуальная инновация реформатора, или же известная ему из живой речи форма с экспрессивно-усилительным значением):

Положительная степень: (*dadebiti*) обозначает качество (букв. «состояние») предмета «без возвеличения или унижения»: *ketili* «добрый», *boroḡi* «злой», *grzeli* «длинный».

Сравнительная степень (*msgavsebiti//šemsgavsebiti*) обозначает качество предмета «в сравнении (букв. «в уподоблении») с другим предметом»: *u-ketil-es-i* «добрее», *u-boroḡ-es-i* «злее», *u-grz-es-i* «длиннее»...

Превосходная степень (*uaḡrebiti/uaḡresi*) обозначает качество предмета «в сравнении с другими предметами»: *uu-ketil-es-i* «добрейший», *uu-boroḡ-es-i* «злейший», *uu-grz-es-i* «длиннейший»...

Во второй редакции (1767 г.), на основе которой «Грамматика» Антония I была издана в 1885 г. [Антоний I, 1885], в качестве показателя превосходной степени трактуется традиционная форма бóльшей степени *u-es*, но морфологически выраженная трехступенчатая система сохраняется—функцию показателя сравнительной степени Антоний I приписывает грузинскому суффиксу уподобления—*-ebr-*:

Положительная степень трактуется так же, как в первой редакции:—*ketili, boroṭi, grzeli...*

Сравнительная (уподобительная) степень выражается суффиксом *-ebr-*: *ketil-ebr-i* (по Анточию, «добрее»), *boroṭ-ebr-i* «злее», *grzel-ebr-i* «длиннее»... а превосходная (*u-dadebit-es-i*) выражается суффиксом *u-es*: *u-ketil-es-i* «добрейший», *u-boroṭ-es-i* «злейший», *u-grz-es-i* «длиннейший»...

При этом наряду с синтетической формой превосходной степени (в первой редакции: *uu-es*, во второй: *u-es*) фигурирует и описательное образование превосходной степени *qovlad ketili* \* «добрый (I) всех//самый добрый», *qovlad boroṭi* «злой всех//самый злой», *qovlad grzeli* «длинный всех//самый длинный...» [Антоний I 167, 68, Антон. I 1885, 126].

Примечательно, что описательная форма превосходной степени содержит прилагательное в положительной степени — *grzeli* т. е. уже представлена конструкцией, утвердившейся впоследствии в современном грузинском языке в качестве аналитического образования суперлатива. Такая конструкция не находит аналогов в письменных памятниках (где прилагательное в этом случае представлено синтетической формой «бóльшей» степени) и может быть признана отражением традиции, сложившейся к этому времени в устной грузинской речи.

Таким образом, социальная группа «ученых мужей», к которой принадлежал сам реформатор и которой адресовал свою инновацию, в данном случае выступила не только как группа, способная «санкционировать, принимать или отвергать те, или иные варианты языковой техники» (Журавлев), но и как инициатор новых средств языкового выражения. Антоний I уловил потенцию развития одной из подсистем языка, явившись тем самым как бы одной из «...отправных точек языковой эволюции...» (Поливанов...), в чем, очевидно, сказалась и направленность культурно-языкового процесса и продуктивность просветителя.

Однако явно ограниченный объем социальной группы, в наибольшей степени вовлеченной в процесс культурно-ареаль-

ного языкового взаимодействия и ощутившей потребность в реинтерпретации подсистемы родного языка, оказался недостаточным фактором социализации новой, сформировавшейся в рамках одной группы коммуникативной потребности. И хотя «объективный и социально значимый процесс нормализации, стандартизации литературного языка в значительной мере зависит от деятельности его нормализаторов» [Журавлев, 1982, 217], предложенная форма превосходной степени распространения в языке не получила. На уровне потенции системы оставалась и сама возможность формального различия двух степеней сравнения. Инновация Антония I на протяжении более ста лет оставалась фактом грамматической традиции. Трехчленная система степеней сравнения фигурирует во всех грамматиках грузинского языка (З. Шаншовани, Гаюза Ректора, И. Карбелашвили, Н. Чубинашвили, С. Додашвили, П. Иоселиани), основанных на «Грамматике» Антония I [Лежава, 1986]. Сохраняет форму Антония I и автор опубликованной в Петербурге в 1882 г. «Новой грузинской практической грамматики» Д. К. Кипиани, который ставил перед собой задачу «не навязывать языку законы, а выявлять их», сознавая отличия грузинского языка от других языков, и стремился избегать влияния грамматик других языков [Лежава, 1986, 84].

В литературном употреблении форма с аффиксом *-и-ეს* sporadически встречается еще и в XX в. как особое экспрессивно-стилистическое средство: *ver gaakmelinebs xmas im uicmindes grzpbas...* (И. Чавчавадзе) «...не заставит умолкнуть то *святейшее* чувство»; *uizveles dros mcire aziaši da šuamdinaretsic...* (И. А. Джавахишвили) «...в древнейшее время и в Малой Азии и Междуречье...»; *uizvelesi varskvlavi trtda...* (А. Каландадзе) «...трепетала *древнейшая* звезда...».

Однако сама система оценки качества оставалась двухступенчатой, убедительным свидетельством чему служит сохранение древней синтетической формы элатива в сравнительной конструкции (напр., *igi gangležda qovelsa tvisgan umdidressa* (А. Чавчавадзе) «Он разорвал бы каждого, *богаче себя*»).

Во второй половине XIX в. по инициативе лидеров национально-демократического движения, европейски образованных грузинских шестидесятников осуществляется коренная реформа грузинского литературного языка, проводимая под лозунгом демократизации последнего. Реформаторы не приняли ни формы Антония I, ни самой трехчленной системы, хотя субъективно и ощущали потребность в выражении большей степени качества, чем сравнительная.

Классики новогрузинского языка, по крайней мере, в художественном творчестве, следуя древней норме, употребляют форму элатива и в составе сравнительной конструкции, и вне ее: *amazē udidesi paṇat̃iḳosoba* (И. Чавчавадзе) «фанатизм *больше этого*» и *danarčeni naçili ki kartuli siṭqvebisa izvelesi droisani arian* (И. Чавчавадзе) «Остальная часть грузинских слов относится к *древнейшему* времени»...

В дальнейшем, по мере расширения социальных групп, для которых строгое различие двух степеней сравнения становится актуальным, древняя форма элатива подвергается реинтерпретации, постепенно утрачивает способность употребляться в сравнительной конструкции, а двухступенчатая система оценки качества, соответственно, трансформируется в трехступенчатую. Однако наблюдающиеся на протяжении всей второй половины XIX в. и вплоть до первой трети XX в. колебания в семантической интерпретации синтетической формы элатива все-таки нашли отражение в дефинициях восьмитомного «Толкового словаря грузинского языка» (1950—1964 гг.).

Сам формант *и-...-es* в специальной статье трактуется как показатель превосходной степени, но толкования 87 словоформ с этим аффиксом (очевидно, в зависимости от особенностей иллюстративного материала) распадаются на три группы.

I. Форма элатива понимается как превосходная степень с двумя возможными семантическими нюансами:

*ubr̃znesi* — мудрее всех//очень мудрый: *ubr̃znesi darigeba*— «*очень мудрое* наставление» (И. Мачабели, перевод); *umorçilesi*— покорнейший: *umorçilesi* тховпа «*покорнейшая* просьба» (К. Бакрадзе, перевод); *umoklesi*—самый короткий: *umokles iṣṭoriul vadaṣi* «В *кратчайший* исторический срок» (газ. «Комунисти»).

Значение превосходной степени иллюстрируется преимущественно примерами из языка переводов и прессы. Хотя здесь же встречаются примеры из оригинальной литературы:

*umzlaṽresi*: *umzlaṽresi m̃teri*—*moñpolebi* «...*сильнейший* враг-монголы» (Я. Гогешашвили), *udidebulesi*: *inglisis udidebulesi* тату-*liṣvili*... «...*величайший* сын Англи» (И. Чавчавадзе).

II. Одной и той же словарной единице приписывается одновременно значение превосходной и сравнительной степени:

*umçaresi*— 1. Очень горький, горше//горче всех. 2. Более горький; *uṭ̃mesi da umçaresi*... *siṃcuxare* «*Глубочайшая* и *горчайшая* печаль» (Я. Гогешашвили), *verc epaze umçares* *moizev kveqanaze* «Нет в мире ничего *горче языка*» (Р. Эристави). *ulamazesi*— 1. Очень

красивый, красивее всех. 2. Более красивый: *ulamazesi šepoba ka-lakši* «красивейшее здание... в городе» (газ. «Комунисти»); *shvaze... ulamazesi* «...красне ...другого» (А. Церетели)...

В других случаях на уровне толкования различаются два значения, но иллюстрируется лишь одно из них:

*umartlesi* — 1. Более правдивый. Очень правдивый: *ert-erti umartlesi tipi dagvixata* «Нарисовал один из *правдивейших* образов...» (Г. Кикодзе); *uavesi* — 1. Более злой. 2. Самый злой: *šep iğavi uavesi avze* «Ты был *злее* злого» (К. Чичинадзе)...

III. В самой малочисленной группе форма элатива трактуется как сравнительная степень, но иллюстративный материал, как правило, отсутствует:

*umešesi* — больше (иллюстрации нет); *isxadesi* — более ясный (иллюстрации нет)... *umt̄kicesi* — более твердый: *čveuleba r̄žulze umt̄kicesia* «Привычка *тверже* веры»...

#### § 4. Формирование оппозиции между сравнительной и превосходной степенью

Завершение процесса трансформации системы степеней сравнения в современном грузинском языке нашло отражение как в лексикографической практике, так и в литературном узусе.

Так «Грузинско-русский словарь» [К. и А. Датикашвили. — Тб., 1967] в отличие от «Толкового словаря» интерпретирует формант *и... -es* как «показатель сравнительной и превосходной степени» и в толкованиях повторяет двойственные дефиниции одноязычного словаря. Однако в тех случаях, когда соответствующая словоформа в одноязычном словаре отсутствует, неизменно дается лишь значение превосходной степени (*udablesi*-низший, *ugonieresi*-разумнейший, *umčidroesi*-теснейший, *urtulesi*-сложнейший...).

Трехтомный «Русско-грузинский словарь» (Тбилиси, 1957--1959 гг.) последовательно различает в грузинском языке сравнительную и превосходную степень. Здесь уже превосходная степень русского языка регулярно переводится посредством синтетической формы (древнего элатива): ближайший-*uaxloesi* кратчайший-*umoklesi*, легчайший-*umsubukesi*, наивысший-*umaylesi*...

Сравнительной же степени русского языка соответствует один из возможных в современном грузинском языке вариантов выражения сравнительной степени — аналитическая конструкция, включающая прилагательное в положительной сте-

пени+квантификатор *-upro* «более»: *гаже-upro sazageli*; *дороже-upro zvirpasi*, *ближе-upro axlo*; *выше-upro mayali*...

Прослеживаемый процесс реинтерпретации формы элатива наглядно зафиксирован, в частности, в романе Ч. Амирэджиби «Дата Туташхия», действие которого относится к концу XIX—началу XX в. Здесь форма древнего элатива выступает в роли своего рода социолингвистического маркера. В тех пассажах романа, которые по сюжету являются скрытым переводом, т. е. имитируют ведущиеся на русском языке беседы и монологи персонажей, фигурируют только одиночные формы синтетического элатива, употребляемые в значении превосходной степени: *tkveni upirvelesi mizania* «Ваша *первейшая* цель...», *ert-erti urtulesi ubania* «Один из *сложнейших* участков», *uaxlesi ragizuli modis popularizatori* «Популяризатор *новейшей* парижской моды» ...Четко различают две ступени сравнения в собственно грузинской речи и персонажи, представляющие просвещенную часть грузинского дореволюционного общества (что, очевидно, соответствует и узусу самого автора): *...uganatilebules pigovnebad itvleboda* «...считался *просвещеннейшей* личностью...», *es cinadadeba damoqidebulebis arss uzusiesad gatohaṭavda* «Это предложение *точнейшим* образом выражало суть отношения». Форма элатива в сравнительной конструкции встречается всего дважды в речи представителей низших слоев, предположительно, монолингвов: *kveqanaze šenze uketess da ulamazess gas paḥavs adamiani* «Что *лучше* и *краше* тебя есть в этом мире...»; *sesxe samžer uzviresi nivti*... «Вещь в три раза *дороже* заема».

Противопоставление синтетической превосходной степени и сравнительной конструкции и, таким образом, формирование трехступенчатой системы степеней сравнения в грузинском языке закрепляется, прежде всего, в точках пересечения линий социо-культурного и внутрисистемного языкового развития. В частности, уже в переводах первой половины XX в. древняя форма элатива в сравнительной конструкции не встречается и употребляется только в качестве эквивалента синтетической и аналитической превосходной степени русского языка: *udidesi umravlesoba* «огромнейшее большинство», *umdidrest padavli* «богатейшая добыча», *umciresi paoc'i* «самомалейший изгиб (мозга)», *tavi germaniis, ulamazes kacad miaḥnia* ...«считает себя одним из *самых красивых* мужчин Германии...».

Соответственно, обе формы сравнительной степени переводятся посредством структурно и функционально эквивалентной сравни-

тельной конструкции: «Более высокая форма» -*urgo magali romta*, «ниже»—*upro dabali...*

Форма элатива в сравнительной конструкции невозможна в научной речи (в этом плане нами проанализированы более 20 монографии по разным отраслям знания), где она выступает в роли эквивалента синтетической превосходной степени русского языка: *am drois umtavres movlenad šeižleba čaitvalos* «может быть сочтено *важнейшим* явлением этой эпохи...», *kartveluri da indoevropuli tomebis aset i zvelesi kontakṭis asparezi...* «...арена *древнейших* контактов картвельских и индоевропейских племен...».

Древняя форма элатива в сравнительной конструкции не встречается и в языке прессы. В частности, во всех номерах газеты «Тбилиси» за 1976—1977 гг. зафиксирован всего лишь один случай употребления формы элатива в сочетании с квантификатором *upro: magalitat, upro imayles ligaši gadasvla* (10.XI.1977) «...например, переход в *более высокую* лигу...» В то время, как для прессы характерно различие двух семантических типов превосходной степени: *umciresi kamera...* *gomelic msoplioši qvelaze mcirea* (24.IX.1976) «*Наименьшая* камера... которая является *самой маленькой* в мире».

Тот же процесс наблюдается и в современной художественной прозе и публицистике, где вместе с тем повышается (по сравнению с переводами и языком науки) частотность другого, видимо, возникающего в разговорном языке способа выражения собственно сравнительной степени—посредством послеложной конструкции. **Превосходная степень:** *...gardasuli omis ganca umčvavesi ikpeba* (Т. Буачидзе) «...переживания прошедшей войны остаются *острейшими*...», *čveni uaxlesi istoriidan sncbilia...* (Т. Буачидзе)—«...из нашей *новейшей* истории известно...», *içqebis me:dabnoe beris imzimesi gziť siaruls* (Т. Шавладзе) «...вступает на *труднейший* путь монаха-пустынника...», *...gomlis siužetis izvelesi piksacia...* (Т. Шавладзе) «...*древнейшая* фиксация сюжета...» и т. д. **Сравнительная степень:** *gomeli upro adrindelia* (Т. Шавладзе) «...который *более ранний*...» и *imaze didi magaliti gaṭa unda iqos...* (Т. Шавладзе) «...что может быть *большим* (букв. большой того) примером...», *...berznuť mitze adrindelia* (Т. Шавладзе) «...*древнее* (букв. древний) греческого мифа...».

Нарушение строгой оппозиции между двумя ступенями сравнения в современном грузинском языке встречается лишь споради-

чески, преимущественно, в спонтанной речи монолингвов. С одной стороны, семантика древней, нерасчлененной бóльшей степени ощущается в употреблении синтетического элатива в сочетании с квантификатором *ipro*: *gomeli rupñcia ipro uadresia* «Какая функция более ранняя» (вместо нормативного «*ipro adrindelia*»...), а также в составе послеложной сравнительной конструкции: *saego ñanon-mdeblobaze ucinares, ñanonikuri samartali imayleboda* «Раньше (вместо нормативного «рано»—*cin, adre*) светского права возвышалось каноническое право», *amaz ulamazesi gogo ubanñi ag daiareboda* «Краснее нее (вместо нормативного *lamazi* «красивая») девушки не было в районе...».

С другой стороны, наблюдаются примеры ненормативного выражения семантики превосходной степени, возникающие в результате сочетания синтетического элатива с квантификатором «всех»: *qvelaze udidesi* «наибольший всех», *qvelaze ulamazesi* «красивейший всех», *qvelaze imzapresi* «самый напряженнейший»... Образования последнего типа привлекают внимание нормализаторов современного литературного языка и трактуются как тавтологичные, отклоняющиеся от нормы конструкции, возникающие вследствие контаминации двух типов превосходной степени: *qvelaze didi* «больше всех» и *udidesi* «наибольший» [Нормы..., 37].

Колебания, как можно видеть, наблюдаются в образовании сравнительной степени и относительной превосходной, в то время как безотносительная превосходная степень последовательно и однозначно выражается синтетической формой элатива вне конструкции.

Однако та же форма синтетического элатива получает значение собственно сравнительной степени в случае супплетивного образования: *qargi* «хороший»—*uqetesi* «лучше», *cudi* «плохой»—*uaresi* «хуже». Безотносительная превосходная степень в этом случае выражается посредством инновации префиксально-суффиксального образования: *sa-uqetes-o* «наилучший» («*богатейшие* и *прекраснейшие дворцы*» *umdidresi da sauqetesu cixe-darbazebi*; «...его желание устроить все наилучшим образом» *mis survils, moeçqo qovelive sauqetesod*).

## § 5. Характер и направление трансформации системы степеней сравнения

Процесс трансформации двухступенчатой системы оценки качества (включавшей исходную нерасчлененную «бóльшую» степень качества) в трехступенчатую (включающую положи-

тельную, сравнительную и превосходную степени) затрагивает как интерпретацию древней синтетической формы элатива, так и структуру сравнительной конструкции.

На первом этапе, охватывающем длительный период, по крайней мере, с V в. по XX в., синтетическая форма элатива употребляется во всех возможных окружениях, впоследствии трансформируемых и, соответственно, семантически интерпретируемых как выражение сравительной и превосходной степени:

- \**(h) u-did-ēs-i*:
- a) *udidesi čemsa* «больше меня»
  - б) *upro(js) udidesi* «более большой»
  - в) *udidesi qovelta* «больше всех»
  - г) *udidesi* «больше»

Противопоставление остается в рамках одной ступени растущей степени качества и служит различению относительно и безотносительно «большой» степени качества. При этом собственно семантика степени качества обязательно выражается синтетической формой.

Основным показателем завершившегося в течение первой половины XX в. процесса трансформации является элиминация синтетической формы из состава сравнительной конструкции. Структурному преобразованию, семантической реинтерпретации и упорядочению по растущей степени качества подвергается весь соответствующий инвентарь, сформировавшийся еще в древнегрузинском языке:

- a) *udidesi čemsa* → *čemze didi* «меня большой»
- б) *upro(js) udidesi* → *upro didi* «более большой»
- в) *udidesi qovelta* → *qvelaze didi* «большой всех, самый большой»
- г) *udidesi* → «наибольший».

Формируется противопоставление сравнительной и превосходной степени. Причем в рамках каждой из степеней складываются два способа языкового выражения. С одной стороны, сравнительная степень выражается аналитической конструкцией, обнаруживающей типологическое сходство с соответствующей аблативной конструкцией горских иберийско-кавказских языков: (а) *čemze didi*, с другой — следы древнего синтетического образования сохраняются в параллельной модели, включающей квантификатор *upro* (б) *upro didi*. Сама же древняя форма элатива *udidesi* (г) осмысливается как форма безотносительной превосходной степени, что, находит типологическую параллель в других системах морфологического выражения степени качества (срв. осмысление древнеславянского суффикса

сравнительной степени ейш//айш [Кузнецов 1953, 158] как показателя превосходной степени в русском языке, сохраняющего, однако, древнее значение вплоть до XIX в.). Параллельно складывается аналитическая превосходная степень, основанная на положительной степени: (в) *qvelaze didi*. Схематически описанный процесс можно представить следующим образом:

\**x(h)udidesi*  $\left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{сравн. ст.}} \textit{upro didi} \text{ «больше», букв. «более большой»} \\ \xrightarrow{\text{прев. ст.}} \textit{udidesi} \text{ «наибольший»} // \textit{qvelaze didi} \text{ «всех большой»} \end{array} \right.$

Хронологически весь процесс трансформации грузинской системы степеней сравнения (без супплетивных форм) может быть представлен в виде таблицы:

Реконструированное состояние		Древне-и новогрузинский язык V—XIX вв.		Современный грузинский язык XX в.	
Относительная большая степень	* <i>mi-did-es-i</i> больше меня	Безотносит. большая степень	<i>u-did-es-i</i> больше	Превосходная степень Относит.   Безотнос.	<i>u-did-es-i</i> наибольший
	* <i>gi-did-es-i</i> больше тебя		<i>u-did-es-i qovelta</i> больше всех		<i>qvelaze did-i</i> всех большой
	* <i>(h)-u-did-es-i</i> больше него	Относительная большая степень	<i>upro u-did-es-i</i> более больше	Сравнительная степень	<i>upro did-i</i> более большой
			<i>u-did-es-i čemsa</i> больше меня		<i>čemze did-i</i> меня большой
	<i>u-did-es-i šensa</i> больше тебя		<i>šenze did-i</i> тебя большой		
		<i>u-did-es-i massa</i> больше него		<i>masze did-i</i> его большой	

Прослеживаемое на протяжении всей истории грузинского литературного языка статистическое соотношение, согласно которому «описательное образование сравнительной (вернее: большей — К. Л.) степени в древнегрузинском языке встречалось редко... в новогрузинском языке оно занимает больше ме-

ста по сравнению с синтетической формой степени» [Зурабишвили, 1958, 133], по сути дела, отражает процесс реинтерпретации системы. Синтетическая форма, получившая статус превосходной степени, в силу своей экспрессивно-стилистической окраски, естественно, характеризуется меньшей частотностью, в то время как аналитическая конструкция, имеющая значение сравнительной степени, употребляется чаще.

Внутрисистемный характер описанного процесса трансформации вытекает уже из того факта, что предложенная в свое время Антонием I искусственная форма превосходной степени была отброшена. Оказались нежизнеспособными и оба варианта реинтерпретации системы степеней сравнения, содержавшие элементы искусственности; хотя предложенная Антонием I во второй редакции «Грамматики» интерпретация древней формы (синтетической) большей степени сравнения в качестве формы превосходной степени как бы «предугадала» исторический путь развития системы степеней сравнения в грузинском языке. Вместе с тем, по мере актуализации коммуникативной потребности в двух растущих степенях качества язык изыскал соответствующие средства выражения в рамках системы, достигнув этого путем переложения и частичной трансформации имеющегося грамматического инвентаря.

С другой стороны, о потенциальной способности картвельской системы степеней сравнения к трансформации свидетельствует (нуждающееся, правда, в специальном изучении) формирование морфологически выраженной трехступенчатой системы в бесписьменном сванском языке, где синтетическая форма превосходной степени (префиксально-суффиксального образования) засвидетельствована уже в языке народной поэзии. В сванском языке родственная грузинской синтетическая форма большей степени закрепляется в значении сравнительной степени (сгпн «красный»: хо-сгап-а «краснее») и в тех случаях, когда она утрачивает значение сравнительной степени, подвергается вторичной аффиксации в том же значении: хо-џ-а «лучше» → «хороший» и затем: хо-џа+ -il → хо-џи-l (по диалектам: хоџel//хоџil) «лучше». Вместе с тем возникает синтетическая же форма превосходной степени: сгпн «красный»-хо-сгап-а «краснее» — та-сгап-е «краснейший» [Чкадуа 1987].

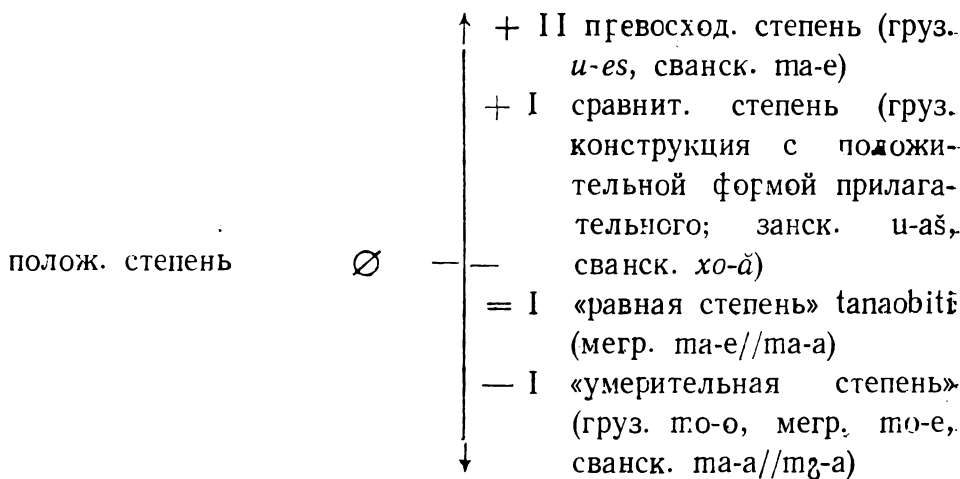
Формирование древней большей степени в грузинском и сванском языках, видимо, протекало в общекартвельском русле\*. Однако образование третьей ступени — превосходной сте-

---

\* Специалисты ввиду отсутствия явного материального сходства со сванским языком возводят формант древнего элатива только на уровень грузинско-занского единства: груз. *u-es*: занск. *u-aš*: \**u-es* [Климов 1964, 185]. Однако с этой точки зрения требует специальной интерпретации возможная связь фор-

пени шло разными путями: в грузинском в качестве превосходной степени осмыслиется, как было сказано, древняя синтетическая форма бóльшей степени, а сравнительная использует положительную форму степени, тогда как в сванском и сравнительная, и превосходная степени образуются от положительной степени посредством материально различных префиксально-суффиксальных моделей. Таким образом, сванский (верхнебалльский) последовательно придерживается синтетического образования, а грузинский сочетает синтетическое и аналитическое образование степеней сравнения. Однако обе возможности предстают как развертывание потенции системы.

В результате в картвельских языках в целом возникает более полная система оценки качества, оперирующая инвентарем, обнаруживающим материальное и типологическое сходство:



В грузинском литературном языке трехступенчатая система степеней сравнения, несомненно, формируется на пересечении процессов внутрисистемного и культурно-социального развития\*, а средства языкового выражения при этом проходят

мантов: сванск. *xo-a* и груз. ( $u-e < (*h) u-e$ ), сближающихся, по крайней мере, по признаку общего отсутствия консонантного сегмента в ауслaute, что по-новому ставит вопрос о хронологической соотнесенности полной и краткой форм грузинского элатива.

\* О культурно-ареальном характере развития системы степеней сравнения в сторону формирования синтетической превосходной степени свидетельствует процесс, наблюдаемый в литературных языках в противоположных точках иберийско-кавказского языкового мира. Так, в удийском языке, как и в других горских иберийско-кавказских языках, сравнительная степень выражается синтаксической конструкцией, содержащей положительную степень имени, а значение превосходной степени передается посредством квантификаторов *lap* „очень“ или *golo* || *gele* „много“ (*čoča* „красный“ — *golo čoča* || *lap čoča* „очень

«долгий и сложный путь жанрово-стилистического испытания и отбора» [Бахтин, 1979, 243]. Культурно-исторический процесс, затрагивая в первую очередь определенные группы носителей языка, в данном случае выступает в роли катализатора внутрисистемного развития, не приходя в противоречие с тенденциями и потенциальными возможностями языковой структуры.

О характере и особенностях взаимоотношения названных процессов можно судить в сопоставлении с другим явлением культурно-грамматического порядка, имевшим место в истории грузинского литературного языка.

---

красный»). Однако, по наблюдениям исследователей, в последние десятилетия прослеживается тенденция к морфологическому выражению превосходной степени, образуемой (как и в сванском языке) от основы голгожительной степени: *џо-р-џоџа* „краснейший“, где элемент *-р-* восходит, возможно, к *-lap-* [Сихарулидзе, 1985]. Очевидно, происходит морфологизация семантического квантификатора.

Аналогичный процесс наблюдается, по-видимому, в кабардинско-черкесском языке, где в роли показателя степени (сравнительной) морфологизируется частица *пӕх* „более“ и редуцированный вариант той же частицы—*пӕхӕа* „чем“ [Қамбечоков, 1988].

ПОПЫТКА ВВЕДЕНИЯ КАТЕГОРИИ «РОДА» (ПОЛА) В ГРУЗИНСКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК§ 1. Появление форм «женского рода» (пола) в  
древнегрузинском языке

В рамках грамматической системы грузинского языка субстантивы, как известно, классифицируются по признакам одушевленность//неодушевленность и человек (кто?)//не человек (что?). Кроме того, лексически выражается пол одушевленных существ: а) посредством антонимических пар (*deda* «мать»—*tama* «отец», *puri* «корова»—*xari* «бык», *zi* «самец»—*xvadi* «самка»...); б) семантически не маркированными единицами, которые предполагают существа обоих полов, но по мере коммуникативной необходимости противопоставляются семантически маркированным лексемам, обозначающим существа женского пола (*viri* «осел», *sxeni* «лошадь», *aklemi* «верблюд»... но *gdali* «ослица» *çaki* «кобыла»...); в) маркерами *tamali* «самец»//*tama* «мужчина» и *dedali* «самка»//*deda* «женщина», способными сочетаться со всеми одушевленными существительными классов кто? и что?

Переводчики христианской литературы уже на древнейшем этапе грузинско-византийских литературных связей (V—X вв.), видимо, вполне осознавали, что в процессе перевода утрачиваются некоторые категории языка оригинала (напр., категория грамматического рода), отсутствующие в языке перевода [Данелиа, 1986, 88], что, однако, не препятствует достижению эквивалентности. Более того, необходимость обеспечения максимальной доступности содержания первых канонических библейских текстов, очевидно, ограничивала возможную языкотворческую активность переводчиков и удерживала от введения каких-либо грамматических инноваций. Касаясь категории «рода», С.-С. Орбелиани уже в XVII в. пояснял, что первые переводчики и редакторы библии не выражали «род» не потому, что не различали его сами в греческом, а с тем,

чтобы сделать перевод «доступным для необученных». [С.-С. Орбелиани, 1965, 437]. Так или иначе, но весьма интенсивная редакторско-переводческая практика раннего периода не привела к формированию актуальной потребности в каком-либо морфологическом эквиваленте, хотя бы для той же категории грамматического рода.

По мере усиления позиций литературного языка, жанрово-тематического обогащения переводимой и оригинальной литературы, возникновения литературных школ... формируется достаточно широкий социальный адресат именно кодифицированного литературного языка. Примерно с XI в. одна из таких школ — авторитетная литературно-переводческая школа эллинофилов вводит в литературный обиход целый ряд так называемых «новых грецизмов», в том числе — форму существительных с окончанием *-a*. [Сарджвеладзе, 1984], которая в грузинской лингвистической литературе порой трактуется как «форма женского рода». Сам процесс проникновения или возникновения интерферированных грецизмов в древнеписьменных языках Закавказья носил явно выраженный культурно-ареальный характер. Так, например, древнеармянские переводчики и грамматисты по образцу греческой грамматики образовали не только формы рода, но и ввели форму двойственного числа [Туманян, 1963, 42; Данелиа, 1986, 90]... В Грузии эллинистическая школа Иоанна Петрици, выдвинувшая требование максимального приближения к оригиналу (в противовес традиции вольного перевода), стала целенаправленно создавать парные формы с окончанием *-a*, образуемые от не маркированных лексически существительных, обозначающих лиц мужского пола (или в силу определенных социально-исторических причин осмыслявшихся преимущественно как лица мужского пола). Таким образом уже в XI—XII вв. возникли формально маркированные лексические единицы, обозначающие лиц женского пола, типа *ḡabuḡ-a* (при *ḡabuḡi* «юноша») *tere-a* (*тере* «царь»), *monazon-a* (*monazoni* «монах»), *upal-a* (*upali* «владыка»), *toxiḡebul-a* (*toxiḡi* «старик»), *moabel-a* (*moabeli* «моавитянин»), *grma-a* (*grma* «юноша»)...

«Деятельность петриционской школы по своему предназначению носила скорее научный, чем литературный характер, а потому научный язык и стиль нуждались в терминологической ясности и точности.. не только с точки зрения содержания, но и в отношении формы... если в оригинале женский род выражался одним словом со специфическим суффиксом, то и в переводе следовало иметь одно слово» [Данелиа, 1986, 96]. Требование формального соответствия не вызывает сомнения: в одних случаях, очевидно, следуя оригиналу, переводчик употребляет синтетическую

форму пола—*raġta ganavlinos* *კაცთან...* *ebraelni da ebraelaj* «Дабы послал... евреев и *евреек*», в других—обращается к обычной для грузинского языка лексической оппозиции... *kaġi ebraeli da deda-kaġi ebraeli* «мужчина еврей и *женщина еврей(ка)*» [см. Данелиа, 1986, 95]. Однако инновация служила, видимо, и задаче глубинной, семантической интерпретации не только отдельной формы, но и всего текста в целом.

С другой стороны, формант *-a-* оказывается не только в отношении дополнительной дистрибуции к нормативной лексической маркированности, но и в некоторых случаях выступает как самостоятельное морфологическое средство, хотя и избыточное с точки зрения грамматической системы грузинского языка: *deboġa iqo dedaġaci ġinasġarmeġvel-a* (Суд. 4,4) «Дебора была *женщина прорицательница*»...

И все-таки формы женского пола на *-a-* оставались принадлежностью определенного функционального стиля, некоторых жанров древнегрузинского литературного языка и своего рода маркером социальной группы книжников — последователей литературной школы Петрици.

Именно так воспринимает эти сохранившиеся к XVII в. лишь в древних памятниках формы выдающийся грузинский лексикограф С.-С. Орбелиани: «На языке философов *tan* говорят о мужчине, *tana*—о женщине... ибо так надо говорить, дабы одним словом различить мужчин и женщин... все слова, обозначающие мужчин и женщин, различаются дополнительным слогом *i(ini)* или *a(ani)* в конце» [Орбелиани, 1965, 436—437]. С.-С Орбелиани последовательно придерживается этого принципа в построении лексических гнезд, образуя формы с суффиксом *-a-* от всех лексически не маркированных существительных, обозначающих людей: «младенец» *ġġvili*—*ġġvil-a*, «несмышлениш» *usuagi*—*usuag-a*, «подросток» *ninveli*—*ninvel-a*, «юноша» *qġta*—*qġta-a*, «молодой человек» *ġabuġi*—*ġabuġ-a*, «старик» *toħusebuli*—*toħusebul-a...*

Сам С.-С. Орбелиани, предполагает К. Данелиа, будучи «просвещенным лексикологом, должно быть, сознавал факт существования грамматического рода вообще и... считал, что в принципе литературный грузинский язык может в некоторых случаях (в языке теологии, философии) различать формы женского и мужского рода в именах класса человека (*vin?* кто?)» [Данелиа, 1986, 98]. Трудно утверждать, что С.-С. Орбелиани возвысился до понимания инвариантности языковых категорий, хотя необходимость выражения грамматического рода в ряде языков ему, конечно же, была известна. Во всяком слу-

чае, он делает следующий шаг на пути морфологизации пола и распространяет эту оппозицию на глаголы прошедшего (!) времени: ... *movida* «пришел (мужчина)»—*movida-i* «пришла (женщина)» [Орбелиани, 1965, 437].

Однако возможность выражения «рода» (пола) в именах и, даже, глаголах предназначалась только для языка теософско-философской литературы. Не случайно С.-С. Орбелиани помещает формы «рода» в свой «Словарь», но не пользуется ими в художественном творчестве.

## § 2. Построение контаминированной категории «рода» в «Грузинской грамматике» Антония I

Практически употреблявшиеся в духовной, а позже и научно-философской литературе и теоретически осмысленные лексикографом С.-С. Орбелиани в конце XVII в. формы «рода» стали фактом грузинской грамматической традиции (вплоть до конца XIX в.) в результате опыта кодификации грузинского литературного языка, связанного с именем Антония I.

Нормализатор впервые пытается устранить неудобства, сопряженные с употреблением грузинского термина *skesi* (имеющего значение «пол» и «грамматический род»), и предлагает новый общий термин *natesavi* «род». Очевидно, вопреки укоренившемуся в картвелологии мнению, высказанному впервые в 1834 г. известным картвелологом М. Бросе, Антоний I уже не смешивает понятия пола и грамматического рода. Он конструирует для литературного грузинского языка, а фактически — для «высокого стиля» новую грамматическую категорию «рода», представленную четырехкомпонентной смешанной парадигмой, основанной на определенном сочетании действующих в грамматической системе грузинского языка частично пересекающихся и обладающих разной ценностью признаков «пола», «одушевленности//неодушевленности» и «человек//не человек». Комбинация релевантных для данной грамматической системы признаков классификации субстантивов порождает искусственный в рамках той же системы признак «рода». Грамматист выделяет 4 «рода»: *tamrobiti* «мужской», *mdedrobiti* «женский», *umušueobiti* «средний» и *zogadi* «общий».

«Мужской род» включает одушевленные существительные, семантически обозначающие собственно мужчин (*tama* «отец», *zta* «брат», *papa* «дед», *çuli* «сын», *simamri* «тесть», *tamamtili* «свекор»), и лексически маркированные существительные мужского пола (*xari* «бык», *vaci* «козел», *verzi* «баран»).

В «женский род» входят существительные, обозначающие женщин (*deda* «мать», *da* «сестра», *sidedri* «теща», *szali* «невестка...»),

лексически маркированные обозначения самок (*purī* «корова», *pezvī* «олениха» (при немаркированном *iḡemī* «олень»), *zui* «самка»...), а также морфологически маркированные обозначения женщин, образованные от соответствующих наименозаний лиц, которые традиционно, в силу определенных приоритетов преимущественно осмыслились как существа мужского пола (*qrma-a* «молодая женщина» при нормативном *qrma*; *čabuk-a* «девушка» при нормативном *čabu-ki*; *upal-a* «владычица» при *upali* «владыка»; *çinasçarmeḡuel-a* «прорицательница» при *çinasçarmeḡueli* «прорицатель»...).

«Мужской» и «женский род» объединяются по признаку «одушевленность» и противопоставляются по полу; при этом наиболее специфичная для грамматической системы грузинского языка оппозиция по признаку «человек//не человек» нейтрализуется. «Мужской род» = одушевленность + мужской пол; «женский род» = одушевленность + женский пол.

С другой стороны, признак «неодушевленность» в сочетании с признаком «не человек» ложится в основу «среднего рода», который включает в себя все неодушевленные существительные класса что? (*kwa* «камень», *saxli* «дом», *palai* «палаты», *zeli* «бревно»...). «Средний род» = неодушевленность + не человек.

И наконец, признаки «одушевленность» и «немаркированность (лексическая) по полу» в сочетании с признаком «человек//не человек» формируют т. н. «общий род», объединяющий две группы существительных, — *ḡaci* «человек», *mšobeli* «родитель», *švili* «дитя», *mšavululi* «ученый»... и *iremi* «олень», *paršavangi* «павлин», *ḡredi* «голубь», *leḡvi* «щенок»... [Антоний I, 1885, 125—127].

Таким образом возникает искусственная, но достаточно стройная лексико-семантическая по сути система классификации существительных, призванная, фактически, найти «структурную нишу» для известных из древних памятников морфологически маркированных форм женского пола.

При этом к «общему роду» грамматист относит существительные класса кто? (человек), от которых не были образованы формы женского пола, например, *mšobeli* «родитель» и *švili* «дитя», в то время как существительные того же класса, имеющие соответствия с формантом *-a*. (*čabuḡi* «юноша», *upali* «владыка»...), оказываются в группе «мужского рода». Правда, Антоний I не всегда последователен в квалификации конкретных лексических единиц, поскольку слово *ḡaci*, например, включается в «общий род» (хотя известна форма *ḡac-a*), что, видимо, объясняется полисемичностью

самой лексемы (*ḡaci*—«человек», «мужчина») при контекстуально обусловленной лексической оппозиции *tataḡaci* «мужчина»—*dedaḡaci* «женщина». В группе «общего рода» оказывается лексема *ḡaci* в значении «человек», а форма *ḡac-a* предполагается образованной от той же лексемы в значении «мужчина».

Однако коммуникативно-познавательные преимущества подобной системы, основанной на переложении релевантных с точки зрения грамматической структуры грузинского языка признаков, даже в рамках какой-либо одной формы существования кодифицированного письменного языка никоим образом не обосновываются и, видимо, не могут быть обоснованы. Объединение существительных класса человека и не человека в одной подгруппе на основе признаков одушевленности и пола, очевидно, представляло нарушение одного из фундаментальных структурно-грамматических принципов грузинского языка.

Примечательно, что Антоний I все-таки сознает, что «грамматический род в грузинском языке не выражается, за исключением женского рода» [Антоний I, 1885, 128]. В этом замечании исследователи справедливо усматривают определенную самостоятельность Антония I, как грамматиста, который не полностью и не во всем следует за образцами, на основе которых строит свою «Граматику» [Бабунашвили, 1970, 111].

Формы на *-a*, трактуемые как формы рода, на протяжении века сохранялись во всех грамматиках (З. Шаншовани, Гаюза Ректора, И. Карбелашвили, Н. Чубинашвили, С. Додашвили, Пл. Иоселиани), написанных на основе «Грузинской грамматики» Антония I [Лежава, 1986, 84]. И только автор упоминавшейся выше «Новой грузинской грамматики» (1882 г.) Д. К. Кипиани отвергает категорию «рода» как чуждую системе грузинского языка.

### § 3. Интерпретация форм с суффиксом *-a*

Наряду с традиционными, количественно весьма ограниченными формами женского «рода» начиная со второй половины XVIII в., и особенно в XIX в., в период неуклонно возрастающих культурно-языковых контактов с Россией появляются новые формы с суффиксом *-a*. Они получают распространение в расширяющейся группе лиц, владеющих русским языком, становятся одним из маркеров «сословного билингвизма». Такие формы «по большей части употребляли лица, приобщившиеся к русской науке и культуре... Не избежали соблазна и некоторые талантливые писатели...» [Данелиа, 1986, 100].

Теперь суффикс преимущественно заимствуется в составе самостоятельных лексических единиц (*monarxin-a*, *imperatric-a...*), но изредка присоединяется и к исконным лексемам (*kartvel-a* «грузинка», *γmert-a* «богиня», *xelmçtp-a* «государыня», *brzen-a* «мудрая»).

Со второй половины XIX в., в эпоху реформы и становления новогрузинского литературного языка социальные и культурные условия языковых контактов существенно меняются. С одной стороны, через русский язык в грузинский литературный язык проникает все большее число заимствований, в том числе—интернационализмов с суффиксами *-a-* и *-ция-*, с другой—резко ограничивается возможность образования форм с суффиксом *-a-* от исконных лексических единиц со значением лица.

Так, один из классиков грузинской литературы А. Церетели широко пользуется такими заимствованиями, как *arxitekçtura*, *arxologia*, *ķateçoria*, *loçika*, *muzika*, *poçta*, *psixologia*, *γramaçika*, а также *aķtrisa* и *artistķka*: *es aķtrisa rom iseti siqvarulita da gulit eçidebedes tavis xelobas...* «Если бы эта актриса с такой любовью относилась к своему искусству...», *çxeizis kali momavalsi šesaniš-pavi artistķka šeikneba* «Чхеидзе в будущем станет замечательной артисткой...».

Однако в его словарном фонде нет искусственных форм «рода» [см. Саникидзе, 1984]. Более того, последние заимствования впоследствии вытесняются естественным для грузинского языка лексическим выражением пола: *msaxiobi kali* «актриса».

Тем не менее искусственные формы с суффиксом *-a-* (помимо заимствований) спорадически сохранялись в речи двуязычных носителей грузинского языка вплоть до 20-х годов XX в. и были упразднены специальной орфографической комиссией «как не соответствующие природе грузинского языка» [Проект, 1921, 17].

\* \* \*

Генезис аффикса *-a-* не входит в предмет нашего рассмотрения, однако интерпретация его весьма показательна с точки зрения характера и интенсивности процесса культурно-языкового контакта.

К. Дондуа считал, что «данные грузинско-греческих или грузинско-византийских литературных связей не говорят в пользу заимствования феминизирующего гласного элемента из греческого языка», поскольку в греческом языке женский род

выражается разными вокальными суффиксами; с другой стороны, суффикс *-a-* входит в активный морфологический инвентарь грузинского языка, в частности, именно на гласный *-a-* оканчивается большинство именных основ с вокальным аусласом» [Дондуа, 1987, 178]. Иными словами, К. Дондуа предполагает реинтерпретацию исконного грузинского форманта, хотя и не указывает какого именно.

К. Данелиа, напротив, исходит из того факта, что женский род в греческом чаще всего выражается суффиксом *-a-* и, более того, именно этот суффикс (в отличие от *e*, *o*) способен выражать род самостоятельно, без артикля [Данелиа, 1986, 90]. Соответственно, К. Данелиа склоняется к признанию заимствованности этого суффикса в древнегрузинском языке.

Вместе с тем некоторые факты грузинского языка (включая диалекты) дают основание предположить именно морфо-семантическую реинтерпретацию исконного грамматического элемента, характеризующегося набором разных, но семантически сходных морфологических функций. В частности, суффикс *-a-* имеет уменьшительно-ласкательное значение (*kali* «жница»—*kala*, *dedopali* «царица»—*dedopal-a...*), в именах числительных подчеркивает единственность объекта (*ert-i* «один»—*ert-a-i* «только один») и, наконец, выражает наличие какого-либо особого свойства или признака (*cxvir-a* от *cxviri* «нос»...) [Джорбенадзе... 1988; 11—20]. В последней функции этот суффикс особенно активен в архаичной мужской антропонимии (по существу—прозвищам): *askil-a* (от *askili* «шиповник», *baži-a* (от *baži* «гусь»), *vardi-a* (от *vardi* «роза»...). В интересующем нас плане наиболее показательна функция суффикса *-a-*, зафиксированная в месхско-джавахском диалекте, где этот суффикс маркирует женский пол—в сочетании с суффиксом *-ur//ul*, обозначающим собственно происхождение, выражает происхождение (территориальное) замужних женщин: *čunčx-ul-a* «женщина из деревни Чунчха», аналогично—*tvel-ul-a*, *dadeš-ul-a*, *erqot-ul-a...* В настоящее время подобное образование вытесняется нейтральным с точки зрения пола суффиксом *-el-*: *erqot-el-i*, *vorgav-el-i* [Беридзе, 1986, 16].

Допущение обшемаркирующей функции суффикса *-a-* в грузинском языке (при различных конкретных реализациях) приводит к выводу о возможной реинтерпретации данного суффикса в одном из указанных значений, в первую очередь, в том значении, которое пережиточно сохраняется в диалекте. Само же осмысление суффикса *-a-* в роли маркера именно женского пола следует понимать как попытку морфологизации и расширения имманентно присущей системе грузинского язы-

ка тенденции, согласно которой, по определению К. Дондуа, «в грузинском языке слова феминизируются, а не маскулизируются» [Дондуа, 1967, 178].

В классе человека наряду с традиционной, лексико-семантической оппозицией в результате целенаправленной кодификационной деятельности формируется новая оппозиция, получающая морфологическое выражение: *upal-i—upal-a*, *čabuk-i—čabuk-a* и т. д. Реинтерпретация суффикса носила социально и функционально ограниченный характер, будучи обусловленной определенными, достаточно четкими литературно-переводческими установками, возникающими в процессе конкретной деятельности, а также иными социо-культурными факторами, порождающими новые коммуникативные потребности, которые «формируют языковые возможности и языковое поведение индивида» [Usseler, 1982], а точнее—индивида как представителя той или иной социальной группы.

Таким образом, если в XI—XII вв., в период интенсивных грузинско-византийских связей и в условиях становления научно-философского функционального стиля грузинского языка возникновение форм «женского рода» объясняется целенаправленной и функционально стимулируемой реинтерпретацией исконного элемента грамматической структуры грузинского языка, а в XVIII в. предпринимается опять-таки целенаправленная попытка реинтерпретации всей системы классификации субстантивов, то в начале XIX в. аналогичные формы «рода» действительно являются результатом заимствования, обусловленного представлениями о престижности языка-источника.

Во второй половине XIX в. нормализаторы литературного языка уже не пытаются канонизировать искусственно возникшие формы в рамках какой-либо грамматической категории и выступают вообще против категории «рода» в грузинском языке. Вместе с тем как один из спонтанных результатов расширяющегося владения русским языком в грузинскую речь образованной части общества проникает большое число заимствований с суффиксом *-a-*, которые теперь уже не осмысляются как особые формы «рода» и просто включаются в традиционный для грузинского языка разряд существительных с основой на гласный *-a-*.

Следовательно, в новое время не имели места ни повторное заимствование самого суффикса (теперь уже из русского языка), ни, тем более, реинтерпретация исконного морфологического инвентаря.

Собственно языковой механизм реинтерпретации, видимо, исторически остается тем же самым и может быть рассмотрен как одно из «постоянных» в понимании А. Мейе, чисто лингвистических условий изменения. Можно заметить в этой связи, что именно с таких позиций изучает социальную обусловленность языковых, преимущественно-фонетических, изменений известный социолингвист У. Лабов. «...мы полагаем,— подчеркивает автор,— что широкомасштабные языковые изменения в прошлом осуществлялись с помощью тех же механизмов, что и текущие изменения, происходящие вокруг нас», и при этом ссылается на А. Мейе, который «заметил, что все обнаруженные законы истории языка являются не более чем возможностями» [Лабов, 1975, 200—201].

Язык, а тем более — полифункциональный литературный язык на разных этапах исторического развития предстает как более или менее сложная система в той или иной степени дифференцированных экзистенциальных форм [см., напр., Туманян, 1985; а также Журавлев, 1982], что также объективно создает условия для реинтерпретации, реализуемой не во всем языке одновременно, а в рамках какой-либо социальной группы или формы существования языка. Внимательный наблюдатель осознает объективно данную стратифицированность языка. Так, поистине «социолингвистическое видение» языка обнаруживает лексикограф XVII в. С.-С. Орбелиани, именно в этом плане объясняющий возникновение форм «женского рода» в грузинском литературном языке XI—XII вв. и квалифицирующий их как особенность «языка философов». Нормализатор грузинского литературного языка Антоний I в середине XVIII в. также предполагает свои инновации грамматического порядка не для всего грузинского языка и даже не для литературного языка в целом, но адресует их «мужам ученым».

Меняющиеся конкретно-исторические, и, соответственно, культурно-социальные условия определяют степень актуальности новых коммуникативных потребностей, выбор реинтерпретируемых средств языкового выражения, направление и характер самого процесса реинтерпретации. Одна из задач социолингвистической теории очевидно состоит в том, чтобы показать, как тот или иной реинтерпретированный грамматический элемент, как та или иная инновация в целом «становится (или не становится. — К. Л.) фактом языковой традиции, в каких социальных, культурных, функционально-стилистических условиях развивается этот процесс» [Степанов, 1976, 75].

Одним из критериев оценки стимулируемых извне инноваций, видимо, могут служить описанные выше отношения эквивалентности и «реализованной потенции» между контакти-

рующими категориями, а также степень соответствия порождаемых таким образом инноваций структурным особенностям и потенциальным возможностям развития системы воспринимающего языка.

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 1.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. — М., 1956.
3. Маркс К. Немецкая идеология. — В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, т. 23.
4. Маркс К. Из экономических рукописей 1857—1858 гг. — В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, т. 12.
5. Абаев В. И. О «фенетическом законе». — В сб.: Язык и мышление. 1. — Л., 1933.
6. Авронин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. — М., 1975.
7. Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. — М., 1975.
8. Бабунашвили Е. А. Антоний I и вопросы грузинской грамматики. — Тб., 1970 (на груз. яз.).
9. Бахтин М. М. Проблемы речевых жанров. — В кн.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
10. Белый В. В., У. Д. Уитни и становление американского дескриптивизма. — ВЯ, № 5, 1982.
11. Березин Ф. М. Русское языкознание конца XIX — начала XX века. — М., 1976.
12. Беридзе М. В. Топонимика Джавахегии. — Автор. дис. канд. филол. наук. — Тб., 1986.
13. Бодуэн де Куртенэ И. А. Языкознание или лингвистика XX в. — В кн.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию, т. II. — М., 1963.
14. Бокадорова Н. Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII—XIX вв. — М., 1987.
15. Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды. — ВЯ, № 1, 1985.
16. Введенский Д. И. Вводная статья. — В кн.: Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. — М., 1933.
17. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. — Л., 1929.
18. Гаджиева Н. З. Внешние и внутренние причины языкового изменения. — II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. «Диалектика развития языка». — М., 1980.
19. Гофман А. Б. Французский социологизм и его эволюция (Историко-критический анализ). — Автореф. дис. канд. философ. наук. — М., 1974.
20. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. — в кн.: Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984<sup>1</sup>.

21. Гумбольдт В. Лаций и Эллада. — В кн.: Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984г.
22. Гумбольдт В. Опыт анализа мексиканского языка. — В кн.: Гумбольдт В. Язык и философия культуры. — М., 1985.
23. Данелиа К. Д. Попытка выражения грамматического рода в грузинском литературном языке. — Известия АН ГССР. Серия языка и литературы, № 4, 1986.
24. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. — М., 1977.
25. Дешериев Ю. Д. Проблема взаимоотношения между функционально-типологической и другими классификациями языков. — В сб.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. — М., 1981г.
26. Дешериев Ю. Д. Предисловие. — В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. — М., 1981г.
27. Джорбенадзе Б. А., Кобаидзе М. И., Беридзе М. М. Словарь морфем и модальных элементов грузинского языка. — Тбилиси, 1988 (на груз. яз.).
28. Домашнев А. И. Заметки по поводу социолингвистической концепции У. Лабова. — ВЯ, № 2, 1982.
29. Домашнев А. И. Язык и идеология в их взаимоотношениях. — В сб.: Онтология языка как общественного явления. — М., 1983.
30. Дондуа К. Феминизирующий гласный в грузинском языке. — В кн.: Дондуа К. Избранные труды, т. I. — Тб., 1967.
31. Дюркгейм Э. Метод социологии. — Киев—Харьков, 1899.
32. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. — Одесса, 1908.
33. Дюркгейм Э. О некоторых примитивных формах классификации. — СПб, 1902.
34. Жирмунский В. М. Предисловие. — В кн.: А. Мейе, Основные особенности германской группы языков. — М., 1952.
35. Жирмунский В. М. Проблема социальной дифференциации языка. — В кн.: Язык и общество. — М., 1968.
36. Жирмунский В. М. Марксизм и социальная лингвистика. — В кн.: Общее и германское языкознание. — Л., 1976.
37. Журавлев В. К. История языка и диахроническая социолингвистика. — В сб.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. — М., 1981.
38. Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. — М., 1982.
39. Звегинцев В. А. Социальное и лингвистическое в социолингвистике. — Известия АН СССР. Серия языка и литературы, т. 41, № 3, 1982.
40. Зурабишвили Т. Д. Степени сравнения в картвельских языках. — Автореф. дис. канд. филол. наук. — Тб., 1958.
41. Зурабишвили Т. Д. К истории умерительных форм в картвельских языках. — Вестник АН ГССР, т. XXXIX, № 5, 1962.
42. Климов Г. А. Этимологический словарь картвельских языков. — М., 1964.

43. Колб У. Изменение значения понятия ценностей в современной социологической теории. — В кн.: Современная социальная теория. Под ред. и сост. Г. Беккер, А. Босков. — М., 1981.
44. Кон И. С. Предисловие. — В кн.: История буржуазной социологии XIX — начала XX вв. — М., 1969.
45. Корженек М. И. К вопросу о языке и речи. — В сб.: Пражский лингвистический кружок. — М., 1967.
46. Корженева Е. М. Социологическая теория познания Э. Дюркгейма. — В сб.: Из истории буржуазной социологии XIX—XX вв. — М., 1968.
47. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. — НЛ, в. III. — М., 1963.
48. Крысин Л. П. К социальным различиям в использовании языковых вариантов. — ВЯ, № 3, 1973.
49. Крысин Л. П. Социолингвистическое исследование вариативности современного русского литературного языка. — Автореф. дис. докт. филол. наук. — М., 1981.
50. Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. — М., 1953.
- 50а. Лабов У. О механизме языковых изменений. — НЛ, в. VII. — М., 1975.
51. Лежава Л. Г. «Новая грузинская грамматика» Д. К. Кипиани. — В сб.: ИКЯ, т. XXV. — Тб., 1986 (на груз. яз.).
52. Мачавариани Г. И. К генезису форм сравнительной степени в картвельских языках. — Труды ТГУ, т. 78, 1958.
53. Мачавариани М. В. Две основные тенденции в философии языка и проблема знака в языкознании. — В сб.: Вопросы современного общего языкознания, в. V. — Тб., 1980<sup>1</sup> (на груз. яз., резюме на рус. яз.).
54. Мачавариани М. В. К вопросу о взаимоотношении категорий рефлексива и версии. — В сб.: Вопросы современного общего языкознания, в. V. — Тб., 1980<sup>2</sup> (на груз. яз., резюме на рус. яз.).
55. Мейе А. Общеславянский язык. — М., 1951.
56. Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика. — М., 1976.
57. Нормы современного грузинского литературного языка, в. VII. — Тб., 1983 (на груз. яз.).
58. Осипова Е. В. Социология Э. Дюркгейма. — В кн.: История буржуазной социологии XIX — начала XX вв. — М., 1969.
59. Остгоф Т. и Бругман К. Морфологическое исследование индоевропейских языков. Предисловие. — В кн.: Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX вв. — Составил В. А. Звегинцев. — М., 1956.
60. Панфилов В. З. Карл Маркс и основные проблемы современного языкознания. — ВЯ, № 5, 1983.
61. Петерсон М. Н. Общая лингвистика. — В журн.: Печать и Революция, кн. 6. — М., 1923.
62. Петерсон М. Н. Язык как социальное явление. — Ученые записки. Институт языка и литературы. I (Лингвистическая секция). РАНИОН, М., 1927.

63. Поливанов Е. Д. За марксистское языкознание. — М., 1931.
64. Поливанов Е. Д. Круг очередных проблем современной лингвистики. — В кн.: Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. — М., 1968.
65. Пэлмен П., Пэлмен Б. Общие современные социологические теории. — В кн.: Современная социальная теория. — Под ред. и сост. Г. Беккер и А. Босков. — М., 1981.
66. Развитие социальной структуры общества в СССР. — М., 1985.
67. Рамишвили Г. В. Вопросы энергетической теории языка. — Тб., 1978 (на груз. яз., резюме на рус. и немец. яз.).
68. Рамишвили И. Б. Проблема дихотомии человеческой речи. — В сб.: Язык и речь. — Тб., 1977.
69. Саникидзе Т. В. А. Церетели и вопросы развития лексики грузинского языка. — Тб., 1984 (на груз. яз., резюме на рус. яз.).
70. Сарджвеладзе З. А. Введение в историю грузинского литературного языка. — Тб., 1984 (на груз. яз.).
71. Семьдесят лет советского языкознания. — ВЯ, № 5, 1987.
72. Семичасный С. В. Динамика воздействия внешних и внутренних стимулов в развитии языка. — II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. «Диалектика развития языка». — М., 1980.
73. Сихарулидзе Т. Т. Органическое образование превосходной степени имен прилагательных в удийском языке. — Тезисы научной конференции аспирантов и молодых научных работников. Ин-т языкознания АН ГССР. — Тб., 1985 (на груз. яз.).
74. Слюсарева Н. А. Некоторые полузабытые страницы истории языкознания (Соссюр и Уитни). — В кн.: Общее и романское языкознание. — М., 1972.
75. Слюсарева Н. А. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. — В кн.: Слюсарева Н. А. История языкознания, в. V, ч. I. — М., 1974<sup>1</sup>.
76. Слюсарева Н. А. Французская лингвистическая школа. — В кн.: Слюсарева Н. А. История языкознания, в. V, ч. II. — М., 1974<sup>2</sup>.
77. Слюсарева Н. А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. — М., 1975.
78. Слюсарева Н. А. Советское языкознание (20—30-е годы). — В кн.: Слюсарева Н. А., Страхова В. С. История языкознания, в. VII. — М., 1976.
79. Слюсарева Н. А. Проблемы социальной природы языка в трудах французских лингвистов. — В сб.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. — М., 1981.
80. Современная социальная теория. Под ред. и сост. Г. Беккер, А. Босков. — М., 1981.
81. Sommerfelt А. Французская лингвистическая школа. — НЛ, в. V — М., 1965.
82. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. — М., 1933.
83. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. — В кн.: Соссюр Ф. Труды по общему языкознанию. — М., 1977.

84. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. — М., 1976.
85. Тард Ж. Законы подражания. — СПб., 1892.
86. Тард Ж. Социальная логика. — СПб., 1901.
87. Тард Ж. Социальные законы. Личное творчество. Среди законов природы и общества. — СПб., 1906.
88. Туманян Э. Г. Артикли в современном армянском языке. — Москва—Ереван, 1963.
- 88а. Туманян Э. Г. Язык как система социолингвистических систем. — М., 1985.
89. Федосеев П. Н. Некоторые вопросы развития советского языкознания. — В кн.: Теоретические вопросы современного языкознания. — М., 1964.
90. Философский словарь. — М., 1981.
91. Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX вв. Составил В. А. Звегинцев. — М., 1956.
92. Холодович А. А. Ф. де Соссюр. — В кн.: Соссюр Ф. Труды по общему языкознанию. — М., 1977<sup>1</sup>.
93. Холодович А. А. О «Курсе общей лингвистики». Ф. де Соссюра. — В кн.: Соссюр Ф. Труды по общему языкознанию. — М., 1977<sup>2</sup>.
94. Чемоданов Н. С. Проблемы социальной лингвистики в современном языкознании. — НЛ, в. VII. — М., 1976.
95. Чесноков В. Н. Послесловие. — В кн.: Современная социальная теория. Под ред. и сост. Г. Беккер, А. Босков. — М., 1981.
96. Чикобава А. С. Проблема языка как предмета лингвистики в свете основных задач советского языкознания. — Вестник ИИЯМК, т. X. — Тб., 1941.
97. Чикобава А. С. Проблема языка как предмета языкознания. — М., 1959.
98. Чикобава А. С. Грузинский язык. — В кн.: Языки народов мира, т. IV. — М., 1967.
99. Чикобава А. С. Общее языкознание, ч. II. — Тбилиси, 1983 (на груз. яз.).
100. Чкадуа Р. Б. Некоторые вопросы образования степеней сравнения в сванском языке. — Тезисы научной конференции аспирантов и молодых научных работников. Ин-т языкознания АН ГССР. — Тб., 1987 (на груз. яз.).
101. Шанидзе А. Г. Показатель лица в склоняемых именах. — Труды ТГУ, 1. — Тб., 1936 (на груз. яз.).
102. Шанидзе А. Г. Основы грамматики грузинского языка. — Тб., 1973 (на груз. яз.).
103. Шарадзенидзе Т. С. Проблема взаимоотношения языка и речи. — Тб., 1971.
104. Шарадзенидзе Т. С. Лингвистическая теория Бодуэна де Куртене и ее место в языкознании XIX—XX вв. — М., 1980<sup>1</sup>.
105. Шарадзенидзе Т. С. История языкознания и современное языкознание. — В сб.: Вопросы современного общего языкознания, в. V. — Тб., 1980<sup>2</sup> (на груз. яз., резюме на рус. яз.).

106. Шарадзенидзе Т. С. История взаимоотношения языковых типов и вопрос прогресса в развитии языка. — В сб.: Вопросы современного общего языкознания, в. VI. — Тб., 1981 (на груз. яз., резюме на рус. яз.).
107. Швейцер А. Д. Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике. — М., 1971.
108. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. — М., 1976.
109. Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. — М., 1978.
110. Швейцер А. Д. Социальная стратификация языка. — В сб.: Онтология языка как общественного явления. — М., 1983<sup>1</sup>.
111. Швейцер А. Д. К проблеме социальной стратификации языка. — ВЯ, № 5, 1983<sup>2</sup>.
112. Шор Р. О. Кризис современной лингвистики. — Теоретический сборник, в. V. — П., 1927.
113. Шор Р. О. Язык и общество. М., 1926.
114. Ярцева В. Н. Проблема вариативности и взаимоотношение уровней грамматической системы языка. — ВЯ, № 5, 1983.
115. Arnoud P. Sociologie de Comte. — Press Universitaires de France. — Paris. 1969.
116. Berstein B. Elaborated and restricted codes: An outline. Explorations in sociolinguistics. — International Journal of American Linguistics, v. 33, № 4, 1967.
117. Breal M. De la form et de la fonction des mots. — In: Breal M. Melanges de Muthologie et de la Linguistique. — Paris, 1877.
118. Breal M. Essai de sémantique: Libraire Hachette. Septime ed., Paris, 1924.
119. Cahier Ferdinand de Sossure, v. 19. — Cèneve, 1962.
120. Calve L. — I. Pour et contre Sossure. — Paris, 1975.
121. Doriszewski W. Lange et parole. — Prace filologiczne, t. XIV, 1930.
122. Doroszewski W. Quelques remarks sur la rapports de la sociologie et de la Linguistique: Durkheim et F. de Sossure. — Journal de psychologie. — Paris, 1933.
123. Durkheim E. De la methode objective en sociologie. — Revue de synthése historique, v. 2. — Paris, 1901.
124. Durkheim E. Les formes élémentares de la vie religyues. — Paris, 1912.
125. Durkheim E. Sociology and its scientific field. — In: Durkheim E. A Collection of essays. — N.—Y., 1960.
126. Fishman I. The sociology of language. An Interdisciplinari approach to language in society. — Advances in the sociology of Language, ed. by I. A. Fishman. — Mouton, 1973.
127. Фотев Г. Социологические теории на Е. Дюркгеи, В. Пареро, М. Вебер. — София, 1979.
128. Gardiner A. The theory of Speech and Language. — Oxford, 1963.
129. Große B., Neubert A. Soziolinguistische Aspekte der Theorie des Sprachwandels. — Berlin, 1982.

130. Hartig M. Soziolinguistik (Hrsg. von Hartig M.), VII.—Tübingen, 1981.
131. Herman I. Sociolinguistika 'es nyelvtörte, net.—Budapest, 1982.
132. Ingve V. Acshiving Agriment in Linguistic. — Papers from the Fifth Regional Meeting. Chicago Linguistics Society.—Chicago, 1969.
133. Jespersen O. L'individu et la communante linguistique. — Journal de psychologie normale et pathologique. № 7, 1927.
134. Labow W. The social stratification of English in New—York city. — Washington, 1966. .
135. Labow W. Crossing the gulf between sociology and linguistics. — American Sociology, v. 13, № 2, 1978.
136. Lehmann U. Historic linguistics and sociolinguistics.—Sociolinguistic theory. Ed. by H. C. Gurrie. — The Hague, Mouton, 1981.
137. Meillet A. Linguistique. — De la méthode dans les sciences, II. — Paris, 1911.
138. Meillet A. Etudes de la linguistique générale.—Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale, II ed. — Paris, 1926<sup>1</sup>.
139. Meillet A. Comment les mots changent des sens. — Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. II ed.—Paris, 1926<sup>2</sup>.
140. Mounin G. Histoire de la linguistique des origines au XX siècle. — Paris, 1967.
141. Mounin G. La lingulstique du XX-e siècle.—Paris, 1972. .
142. Reuter E. Handbuch of sociology.—N.-Y., 1943.
143. Romain S. Socio-historical linguistics: Its status and methodology. — Cambridge University press, 1982.
144. Sossure F. de. Notes inédites.—CFS, Genève, 1954.
145. Uesseler M. Soziolinguistik.—B. D. Verlag der Wissenschaft, 1982.

#### И С Т О Ч Н И К И

146. Антоний I Грузинская грамматика.—Ин-т рукописей им. К. С. Кекелидзе АН ГССР, А—53, S—547, S—1115 (на груз. яз.).
147. Грузинская грамматика, составленная Антонием I.—Тифлис, 1885 (на груз. яз.).
148. Жития отцов. Текст издал В. И. Имнашвили.—Тб., 1975 (на груз. яз.).
149. Историческая хрестоматия грузинского языка (памятники V—X вв.).—Тб., 1956 (на груз. яз.).
150. Карамзин Н. М. История государства Российского. В журн.: «Москва», № 2, 1988.
151. Migne J. P. In Antonii vitam monitum. — Patrologiae Graeca, t. XXVI, 1837—1858.
152. Проект уюрядочения спорных волпросов грузинской орфографии.—Тифлис, 1921 (на груз. яз.).
153. Памятники древнегрузинской агиографической литературы (V—X вв.), кн. I.—Тб., 1963 (на груз. яз.).
154. Толковый словарь грузинского языка, т. VII.—Тб., 1964.
155. Орбелиани С.-С. Грузинский словарь.—Орбелиани С.-С., Сочинения, т. IV<sub>2</sub>. —Тб., 1966.

КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ ЛЕРНЕР

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА И ПРОЦЕСС  
ЯЗЫКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тбилиси  
«Мецниереба»  
1989

კონსტანტინე ბორისის ძე ლერნერი

ენის სოციალური ბუნება და ენობრივი ურთიერთობის  
პროცესი

თბილისი  
„მეცნიერება“  
1989

Напечатано по постановлению Научно-издательского  
совета Академии наук Грузинской ССР

ИБ 4076

\*

Редактор издательства И. Е. Герсамия  
Худож. редактор М. Квиникадзе  
Техредактор Е. В. Бокерия  
Корректор Л. О. Шабуршвили  
Выпускающий Е. Г. Майсурадзе

Сдано в набор 28.XII.1988; Подписано к печати 20.III.1989;  
Формат бумаги 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>; Бумага № 1; Печать высокая;  
Гарнитура лит.; Усл. печ. л. 7.25; Уч.-изд. л. 7.0; Усл. кр.-отт. 7.0;  
Заказ 3924; Тираж 1000;

Цена 1 руб. 40 коп.

2,560

---

Издательство «Мецниереба», Тбилиси, 380060, ул. Кутузова, 19  
გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 380060, კუტუზოვის ქ., 19

---

Типография АН Грузинской ССР, Тбилиси, 380060, ул. Кутузова, 19  
საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის სტამბა, თბილისი 380060, კუტუზოვის ქ., 19